

**Налла Дымовская**

**НЕВЕРОЯТНАЯ  
ИСТОРИЯ  
ВИАИМА  
МОШКИНА**

Герои Нового времени

Алла ДЫМОВСКАЯ

**Невероятная история  
Вилима Мошкина**

«Автор»

2016

## **Дымовская А.**

Невероятная история Вилима Мошкина / А. Дымовская —  
«Автор», 2016 — (Герои Нового времени)

Первая часть авторского литературного триптиха. «...Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю — Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства — бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий. Вилим Мошкин — мальчик, юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями. С которыми он не в состоянии совладать. Ибо основа их любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако, именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность, чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека богом, они не делают его даже человеком в буквальном смысле слова...» Текст книги опубликован в авторской редакции.

© Дымовская А., 2016

© Автор, 2016

## Содержание

От автора	6
К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростоянов», «Абсолютная реальность»	6
Об обложках	8
Вступление	9
Игра первая. Приключения Вилки	10
Уровень 1. Шло, брело, ехало	10
Уровень 2. Барышня и хулиган	16
Уровень 3. Все маленькие звери	23
Уровень 4. Смерть пионера	29
Уровень 5. Первая тень василиска	37
Уровень 6. Вторая тень василиска	44
Уровень 7. Собачья звезда	50
Уровень 8. Доктор Фаустос	56
Уровень 9. Анакен Скайуокер	63
Уровень 10. Над Припятью во лжи	70
Уровень 11. Пойдешь налево...	77
Уровень 12. ...придешь направо	83
Уровень 13. Телята и Макар	89
Конец ознакомительного фрагмента.	94

# Алла Дымовская

## Невероятная история Вилима Мошкина

*Все подлинные истории выдуманы,  
Все вымышленные имена изменены.  
(формула по рассекречиванию документов с грифом СС)*

### От автора

#### К романам «Невероятная история Вилима Мошкина», «Медбрат Коростянов», «Абсолютная реальность»

Этот литературный триптих создавался на протяжении без малого двенадцати лет, с перерывами и заблуждениями, пока не сложилось то, что есть теперь. В одно делимое целое. Три образа, три стороны человеческой натуры, персонажи, их я называю – Герои Нового времени. Из нынешней интеллигенции, которая не погибла, не испарилась под чудовищным давлением хаоса и бескультурия, уцелела и возродилась, и в будущем, я надеюсь, задаст еще правильный вектор нашего развития. Три героя и три пространства – бесконечной личности, бесконечной Вселенной, бесконечной вариативности событий.

Вилим Мошкин – мальчик, юноша, мужчина, обыкновенный человек, обладающий, к несчастью, нечеловеческими внутренними способностями. С которыми он не в состоянии совладать. Ибо основа их любовь и вера в чистоту идеи, ради которой стоит жить. А потому носителя такой идеи ничего не стоит обмануть корыстному подлецу. Однако, именно через трудности и падения кристаллизуется подлинная личность, чем более испытывает она гнет, чем страшнее обстоятельства, которые вынуждена преодолеть, тем вернее будет результат. Результат становления героя из ничем не выдающегося человека. Потому что божественные свойства еще не делают человека богом, они не делают его даже человеком в буквальном смысле слова.

Медбрат Коростянов проходит свою проверку на прочность. Убежденность в своем выборе и незамутненный разум, которым он умеет пользоваться во благо, в отличие от многих прочих людей, способность мыслить в философском измерении все равно не умаляют в нем бойца. Того самого солдата, который должен защищать слабых и сирых. Ради этого он берет в руки автомат, ради этого исполняет долг, который сам себе назначил, потому что бежать дальше уже некуда, и бегство никого не спасет, а значит, надо драться. Но когда твоя война заканчивается, автомат лучше положить. И делать дело. Какое? Такое, чтобы любое оружие брать в руки как можно реже.

Леонтий Гусицин – он сам за себя говорит. «Может, я слабый человек, может, я предам завтра. Но по крайней мере, я знаю это о себе». Так-то. Он ни с чем не борется. Он вообще не умеет это делать. Даже в чрезвычайных обстоятельствах и событиях, в которые и поверить-то невозможно, хотя бы являясь их непосредственным участником. Но иногда бороться не обязательно. Иногда достаточно быть. Тем, что ты есть. Честным журналистом, любящим отцом, хорошим сыном, верным другом. Порой для звания героя хватит и этого. Если ко всем своим поступкам единственным мерилom прилагается та самая, неубиваемая интеллигентная «малыхольность», ее вот уж ничем не прошибешь – есть вещи, которые нельзя, потому что нельзя, не взирая ни на какие «особые причины». Поступать, следуя этому императиву, чрезвычайно больно и сложно, порой опасно для жизни, но ничего не поделать. Потому, да. Он тоже герой. Не хуже любого, кто достоин этого имени.

Все три романа фантастические, но! Сказка ложь, да в ней намек. Намек на то, а ты бы как поступил, случись тебе? Знаешь ли ты себя? И есть ли у тебя ответ?

## Об обложках

Все три в одной цветовой гамме. Первая была красно-черно-белая, с преобладанием красного, как основного фона. Потому для двух других романов трилогии – следующая концепция: черно-красно-белая, бело-черно-красная, с преобладанием в одном случае черного, в другом белого цветов.

По рисунку. Для романа «Невероятная история Вилима Мошкина» на фоне белом черная или красная паутина, заглавие оставшимся цветом, черным или красным. Этот образ в видениях героя основной, именно через него он может трансформировать удачу в человека, которого любит, соответственно уничтожение этой паутины ведет к наказанию – герой Вилим Мошкин таким образом отбирает успех у недостойного человека. Паутина – история самой жизни героя, в которой он запутывается, думая, будто он паук, повелитель мух, но всегда сам оказывается ее пленником, и нет ему исхода.

Для романа «Абсолютная реальность» второй вариант – черный фон с белым или красным мертвым деревом, совершенно лишенным листвы, одни только голые сучья. Соответственно заглавие дается третьим оставшимся цветом, белым или красным, но в иных сочетаниях, чем в предыдущих двух книгах серии. Дерево – основной лейтмотив произведения, образ открывающейся герою абсолютной реальности существования, совершенно невообразимой для человека, настолько фантастической, что поражает, будто электрический разряд. Но и одновременно уничижает. Именно указывая место в ветвях этого дерева, разрушая трон, на который цивилизация сама себя водрузила. Герою от плодов этого дерева выпадает его мертвая, призрачная сторона, лишенная подлинной жизни, но все лучше, чем ничего. Это награда за выбор, его не уничтожает смерть, люди из абсолютной реальности даруют ему возможность жить в мире теней, и герой принимает сомнительный дар, потому что его земной долг еще не исполнен до конца.



## **Вступление**

Стук в дверь... Step by step... И вот мы внутри глубокого тоннеля; в нем три коридора. Первый станет загадывать загадки, второй – играть в игры. Третий может свести с ума. Как нечего делать... Ба-бах! NEW GAME! PRESS START TO BEGIN!!!..

## Игра первая. Приключения Вилки

### Уровень 1. Шло, брело, ехало

Вилка, конечно, было дурацкое имя. Дразнительное. Но уж лучше, чем настоящее, которым неосмотрительные предки одарили Вилку при рождении. Вилим Александрович, может, звучит еще и ничего себе, но в сочетании с глумливой фамилией Мошкин получается просто неприлично. А за отдельное от Александровича имечко Вилим запросто могут и поколотить во дворе, вздумай Вилка настаивать на своей законной титуляции.

Вообще-то, согласно воспоминаниям матери, писаться по метрике Вилка должен был несколько иначе: Виллиамом, прегордо и через два "л". Но не вышло. Не подфартило. То ли в ЗАГСЕ недослышали, то ли подвыпившего на радостях папашу не так поняли. Само странное имя возникло же отнюдь не случайно. Папа Мошкин, в то далекое время еще аспирант исторического факультета МГУ, чрезмерно и дилетантски увлекался петровской эпохой, потому находился под впечатлением куртуазной и кроваво окончившейся истории любовных отношений императрицы Екатерины и красавца Виллиама Монса. Вот и назвал сыночка. Между прочим, даже не испросив согласия мамы Вилки, в тот самый роковой момент все еще отбывавшей в родильном доме положенный медициной срок. Папа Мошкин в метрический документ удосужился заглянуть только на следующий день, когда собирал необходимые вещи и справки для выписки своего семейства. Заглянул и ахнул. И не он один. Теща тоже заглянула и тоже ахнула. А потом и еще многое добавила. Мало того, что новоиспеченная бабушка изначально была против "нечеловеческого" имени для единственного внука, так оно еще ко всему написано неправильно! Вот Аглая Семеновна и разразилась негодованием на растяпу зятя. Закатывая глаза и заламывая искореженные артритом руки, теща взяла с папы Мошкина честное слово, что завтра, завтра же! тот отправится в ЗАГС и разъяснит ошибку. Папа, Александр Игоревич Мошкин, тут же торжественно и поклялся.

Но на следующий день были хлопоты и неотложные бытовые вопросы, требовавшие непременно разрешения, и ритуальные пляски вокруг младенца. И на следующий за следующим днем тоже. Про метрику благополучно забыли. А когда удосужились вспомнить – махнули рукой. Не все ли равно. Главное, что новый член семьи мужского пола жив и здоров, исправно сосет грудь и переводит пеленки. А уж как там пишется его имя – через одно или два "л", через «и» или через «а», в конце концов, не суть важно.

Когда же скептически настроенные коллеги Александра Игоревича, подтрунивая над оплошавшим отцом, спросили, что же значит столь необычное имя его отпрыска, папа Мошкин и сам гораздый на шутки, дал предельно ясный ответ. "Вилим" всего лишь сокращенное от "виски с лимоном", – нисколько не смущаясь, сообщил он приятелям. Те возразили, что с лимоном пьют, как правило, коньяк, а буржуазный напиток "виски" в Москве и не достать. Еще бы, в 1969 году! На что Александр Игоревич, а для близких и не очень близких друзей просто Ксаня, резонно ответил, что коли виски было бы достать, то уж пили бы его в нынешних условиях всенепременно с лимоном. Приятели-историки, далекие и от современности, и от экзотических, заморских напитков, противоречить и оспаривать заявление не стали. А потребовали от счастливого папашы поскорее проставиться. Поднять, как водиться, за здоровье матери и ребенка. Ксаня с требованием согласился. Потому, как уважал под хорошую закуску и в приятной компании. И не только виски. Которого, кстати говоря, в жизни не пробовал... А Вилим так и остался Вилимом на веки вечные. Точнее до четырех с половиной лет, когда решительно был переименован в Вилку поделщиками из детского сада "Василек", сред-

няя группа. Правда, папа Мошкин к тому времени присутствовал в его жизни лишь в качестве ежемесячных алиментов, но это уже иная история.

К слову сказать, четырехлетний Вилка, хоть был резвым и подвижным ребенком, и ни разу ничем, кроме соплей и диатеза не болел, однако, впечатление своим внешним видом производил обратное. Особенно на беспокойных по его поводу маму и бабушку. Худющий и бело-брысый, до жалости щуплый и костлявый, он вызывал законные подозрения в благополучии своего здоровья. Оттого частой гостьей в их доме возникала близкая мамина приятельница и бывшая одноклассница Татьяна Николаевна Пухова. Для мамы и бабушки просто Танечка. Врач-педиатр Морозовской больницы. Однако, при всем старании, Танечка никаких явных отклонений от нормы у Вилки обнаружить так и не смогла, но для спокойствия его родных, особенно драматически настроенной Аглаи Семеновны, велела принимать комплексные витамины и рыбий жир. В любом случае полезно, хотя и невыносимо противно. И продолжала регулярно заглядывать к приятельнице на огонек, чтобы обследовать маленького Вилку фонендоскопом, еще прощупывать и простукивать бархатными пальчиками по его цыплячьей грудке. А заодно попить чаю с чудными, рукотворными творожными ватрушками, посплетничать о житье-бытье общих знакомых и в очередной раз намеками вынести нелестный приговор упорхнувшему в другую жизнь Ксане Мошкину.

С этой-то Танечки все и началось. Вернее, началось-то, может, все намного раньше, но в Вилкиной памяти первой вешкой последующих невероятных событий и ситуаций обозначена была именно Татьяна Николаевна Пухова. Обозначена она была, само собой, в поздних, зрелых размышлениях взрослого уже человека и гражданина, пусть и существенно отличного от других, но до конца сознающего и себя, и свое отличие. Тогдашний же маленький Вилка понятия не имел о том, что что-то там в его коротенькой жизни началось, и тем более о том, что это "что-то" имеет для него роковое значение.

Надо отметить, детский врач Пухова была женщиной видной. Хотя на придиричивый и иной женский взгляд излишне дородной. Но не в смысле командной строгости, а скорее из-за некоторой высококоватости в росте, и немного чрезмерной пухлости и округлости в соответствующих местах ее фигуры. И пахло от нее всегда больничной прохладой и лекарственными испарениями, что особенно привлекало маленького Вилку. Больницу и связанные с нею атрибуты он страшными не находил совсем, напротив, сии понятия обнаруживали в его представлении стойкую ассоциацию с милой и мягкой Танечкой, всегда так захватывающе приятно проводившей исследование тощего Вилкиного тельца. Конечно, рыбий жир – большая гадость, даже если заесть его вкусной ржаной корочкой, но к жиру Вилка относился философски, рассматривая его потребление как неизбежную плату за удовольствие общения с Танечкой. Что всему на свете имеется своя цена, Вилка уразумел чуть ли не с рождения. За неявку в детсад в будничные дни, пожалуйста! – противная сыпь по телу. За украдкой съеденные конфеты – шлепки и неприятные слова от бабушки Аглаи, за весело разбитые во дворе коленки – щипучая зеленка, за мамино спокойствие – отсутствующий папа.

Самое же приятное для Вилки заключалось даже не в осмотре, а в последующем чаепитии. Когда Вилке разрешалось забираться к милой и удивительно мягкой гостье на колени, что Танечка, не имевшая своих детей, охотно позволяла и поощряла, и, таская с Танечкиной тарелки специально для него отломленные кусочки ватрушки, слушать бесконечные в своем повторении женские разговоры. Иногда под нескончаемый аккомпанемент "ох! – ов" и "ах! – ов" Вилка тут же и засыпал, но чаще все же внимал и запоминал, а со временем, хоть и маленький, но отнюдь не тупой, начал и разбираться во взрослых проблемах.

Проблем, по сути, было две. Одна мамино-бабушкина, вторая собственно Танечкина. Если за столом выбрасывался лозунг:

– Ох, и не говорите, в наше время настоящих мужчин уже не осталось! А вот в мое... – или:

– Танька, ну что тут скажешь!? С него всю жизнь толку было, что с козла молока! Козел и есть... – то это означало:

Мама, Людмила Ростиславовна Мошкина, и бабушка, Аглая Степановна Ганевич, начали атаку на отсутствующего и потому кругом виноватого Вилкиного отца. Который, если перечислять по пунктам, во-первых, одну молодую жизнь чуть не загубил, имелась в виду мама, а во-вторых, еще одну молодую жизнь непременно погубил бы в будущем, имелся в виду Вилка. Но все вовремя спохватились, и оттого обе жизни, слава богу, ныне в целости и сохранности.

Если же звучало певучее и грустное:

– Ах, дорогие мои! Ухажеров, их вон сколько: считай, половина клиники, а замуж никто не зовет. А все потому... – то настаивал Танечкин черед жалобиться на несправедливости судьбы.

Танечкина беда, хоть и обозначала себя многословно и заковыристо, по сути, тоже была проста. Из врачей какие ж супруги: у него сто двадцать и у нее сто двадцать, плюс приработок и дежурства. Разве ж это семья? А ведь женщина-педиатр любому состоятельному мужчине для совместного проживания с далеко идущими планами в смысле потомства, как подарок! Только где их взять? Все состоятельные давно уж по рукам расхватааны, их детишки у врача Пуховой в пациентах. Если, не дай бог, кто холост, вдов или, что хуже, разведен, то хоть с ружьем выходи, конкурентов отстреливать. Но она, Танечка, не такая, она гордая, и потому ни за кем бегать не станет, надеется только на счастливый случай, вдруг повезет. Но пока что не везет никак и ждать реально везения неоткуда.

Однажды, прямо за чашкой чая, капая слезой в еще дымящуюся коричневую жидкость, Танечка, не сдержавшись, расплакалась, по-детски скривив личико и трогательно поджав нижнюю, пухлую губку. Буквально вчера очередной ее "роман" потерпел крах. Такой милый, такой обаятельный молодой человек, и с деньгами, всего тридцати лет, самой Танечке было уже двадцать восемь, и оказался последним негодяем! Вернее, оказался он сторожем кооперативной автостоянки, согласно трудовой книжке, а по роду непосредственной деятельности – бессовестным и известным в определенных кругах Москвы фарцовщиком. Танечке же он представился секретным космическим ученым, чем и ввел девушку в заблуждение ужасным образом. И как незадачливый джинсовый Ромео ни клялся в любви после разглашения его неприглядной профессии, как ни уговаривал Танечку остаться вблизи него, заманивая дефицитными подарками и сертификатными нарядами, врач Пухова сторожа решительно отвергла. Хотя бы потому, что руки и сердца Ромео не предлагал, а даже если бы и предлагал, то рано или поздно грядущая конфискация имущества и ношение регулярных передач заточенному супругу в Танечкины планы совсем не входили. Оттого в тот вечер разочарованная и обманутая Джульетта, то есть, Татьяна Николаевна, горько и тихо плакала.

Мама и бабушка всю горю сочувствовали, а мама даже всплакнула за компанию, то ли в самом деле сильно жалея Танечку, то ли под впечатлением собственных, невысказанных чувств. Вилке тоже было не по себе. И даже очень. Мягкую, вкусную Танечку он в глубине души боготворил, как боготворит каждый ребенок ту единственную в своем роде плюшевую игрушку, которой раз и навсегда отдано его детское сердечко. К тому же в Вилкином случае игрушка была приходящей, а стало быть, особенно ему дорогой. Ему тоже хотелось плакать, и он даже закрыл для этого глаза и крепко-крепко прижался к Танечке, на коленях у которой, как обычно, сидел. Танечке Пуховой его ласковое сочувствие показалось невероятно трогательным и забавным, и она прижала Вилкину белобрысую голову к своей груди, всхлипнув, поцеловала раз и два в макушку. Удовольствие от Танечкиных поцелуев оказалось для Вилки слишком велико, и плакать ему тут же расхотелось. Однако он так и остался сидеть, закрыв глаза, воображая про себя, как однажды, непременно, явится молодой и богатый жених, влюбится в его Танечку с первого взгляда, как положено в каждой порядочной сказке, и увезет далеко, нет-нет! не очень далеко, на белой, сверкающей машине, может быть даже "Волге" ГАЗ-21. Так Вилка

думал и представлял себе эту машину, удивительно большую и пирожно-кремовую, его любимый цвет. И вдруг пространство за его опущенными веками словно увеличилось в размерах и обрело реальность и цветовую наполненность. Оно было белое-белое, и в то же время желтое как одуванчик и розовое, как шелковый бант детсадовской подружки Риммочки. Пространство кружилось все быстрее и быстрее, Вилке стало весело и хорошо. Так хорошо, как никогда еще, наверное, не бывало. Вспомнив и машину, и Танечку, и цвет, это чудо породившие, Вилка жарко и страстно про себя взмолился, чтобы так все и было. И цвет, и Танечка, и ее счастье на кремовой машине. И его тут же отпустило. Пространство перестало вращаться, вернулось к нормальным размерам размытой неопределенности, и Вилка открыл глаза. Ощущение радости и веселья, однако, не прошло. Оно осталось с ним, только сделалось нежным и приглушенным, словно чувство здоровой сытости после полезного, по науке, обеда... Только много лет спустя, когда Вилка уже полностью отдавал себе отчет в том, кто он, и ЧТО он может, он не раз благодарил в душе Бога за то, что тем вечером Господь или судьба позволили его глазам не смотреть на Танечку, а оставаться закрытыми. И тем самым спасли врачу Пуховой жизнь.

На следующей неделе, а именно в пятницу вечером, Танечка вновь пришла к Мошкиным в гости. Недоуменная и тихая. Вилку в этот день осматривать не стала, а за чаем с редким покупным тортом «Птичье молоко» начала потихоньку выкладывать свои новости. Осторожно и бережно подбирая слова, чтобы не спугнуть случайную удачу.

Из ее рассказа выходило, что счастье, тьфу-тьфу, наконец-то посмотрело в сторону врача Пуховой, причем довольно неожиданным и странным образом.

В тот самый вечер, когда Танечке выпало расплакаться у Мошкиных из-за деляги сто-рожа, она, все еще пребывая в минорном настроении, из гостей шла пешком со стороны Комсомольского проспекта к станции «Парк Культуры». Погода по весеннему времени была теплой и безветренной, и Танечка не стала обременять себя ожиданием автобуса. На Zubовской площади, как примерная гражданка, Татьяна Николаевна остановилась у пустого светофора, и ни машин, ни других пешеходов поблизости не наблюдалось. Но спустя какие-то секунды рядом с ней затормозила бежевая новенькая «Волга», хотя для водителя свет и был зеленым. Еще через полсекунды у автомобиля распахнулась левая дверца, и на проезжую часть выскочил довольно молодой и симпатичный гражданин, совсем даже недурно одетый. Гражданин на дороге, однако, не задержался, а подбежал к Танечке. И задал с бухты-барахты престранный вопрос:

– Девушка, скажите, вы кто по профессии?

Танечка так опешила, что не придумала ничего лучше, как прямо ответить нахалу:

– Я детский врач?!..

– Чудно, просто чудно! Даже замечательно! А лет вам, простите, сколько?

Ничего не понимающая Танечка, вообразившая себе все напасти от съемок кинофильма до побега сумасшедшего угонщика автомобилей из психушки, ответила и на этот вопрос. Причем честно.

– Мне двадцать восемь лет. С половиной.

– Это здорово! – нервно обрадовался непонятно чему гражданин и сообщил:

– А мне тридцать три. Уже.

– Поздравляю! – несколько холодно ответила ему врач Пухова, к тому моменту оправившаяся от внезапного напора незнакомца.

– Милая моя, выходите за меня замуж, ну пожалуйста! Вы симпатичная и, кажется в моем вкусе, и с образованием. Кстати, как вас зовут? – все это незнакомец выпалил на одном дыхании и попытался взять Татьяну Николаевну за руку.

Врач Пухова ничего такого, само собой, ему не позволила, и строго сказала:

– Вот что, товарищ! Если вы немедленно не прекратите хулиганить и приставать к порядочным людям, то я милицию позову. И вообще – буду кричать!

– Погодите, кричать не надо. Я не хулиган. Я несчастный человек! – несчастный человек умоляюще посмотрел Танечке в глаза, явно рассчитывая на ее женское сочувствие, и, видимо, что-то такое в них углядел. А потому сказал:

– Хотя, может быть, с этой минуты уже нет! Вы послушайте...

И Танечка его выслушала. Очень внимательно. И... И, вообще-то, завтра у нее с Геной, так зовут этого «сумасшедшего», самая настоящая свадьба. И она приглашает и Аглаю Семеновну, и Людочку и пусть берут с собой ее обожаемого Вилечку! Зал в «Арагви» уже заказан. А послепослезавтра она, вместе с Геночкой, улетает в Вену, где ее будущий муж должен возглавить советское торгпредство. Если, конечно, все это происходит на самом деле, а не снится ей, Танечке, во сне!

Геннадий Петрович Вербицкий, с которым врача Пухову столь нетрадиционным и скоропалительным образом свела судьба, оказался вовсе не психом и уж конечно не угонщиком, а действительно несчастным, великовозрастным сыном больших родителей. Очень, очень больших родителей. Больших настолько, что об этом не говорят вслух. И эти родители последние лет десять, как только Гена покинул гостеприимные стены МИМО, усиленно и хитро пытались своего единственного и ненаглядного сыночка оженить. С умом и далеко идущими намерениями. Но выгоднейшие партии из достойных, на родительский взгляд, семей Геночка отвергал напрочь. То ли в пику родительской диктатуре, то ли просто из духа противоречия. Более того, он умышленно заводил бестолковые, а порой и опасные связи с женщинами, которые людей его круга могли исключительно и только шокировать. Родители же Гены, устав от бесчисленных и ни к чему не приводящих скандалов, от бесконечной череды лимитчиц, ларечных торговок и железнодорожных проводниц, пошли, наконец, на компромисс. Они согласны были предоставить сыночку свободу и даже немедленно выгодную работу за рубежом, вдали от отчего дома, если Геночка сам найдет себе жену. Какую захочет. Но! Два условия: избранница должна иметь непременно высшее образование, и НЕ иметь детей от других мужчин.

В тот же вечер Гена, радостный и уже осязающий горизонты своей грядущей свободы, выскочил из дома на улице Качалова. И поехал, куда глаза глядят. Пока на углу малолюдного переулочка, у светофора не узрел одинокую женскую фигурку. Час был поздний, и девушка стояла совершенно одна, спокойная и не спешащая переходить дорогу. Из чего Гена, всегда друживший с логикой, сделал вывод, что она, должно быть, не замужем и наверняка не имеет детей, раз в такое время никуда не торопится. На примете же у Гены как назло не имелось в тот момент ни одной подходящей для брачных отношений кандидатуры, а ждать милостей от природы под докучливым родительским кровом ему более было невмоготу. И он решил попытать счастья.

Танечка действительно оказалась в его вкусе. Темноволосая и темноглазая, статная и в теле, она принадлежала именно к тому типу "домашних" женщин, за которыми любой мужчина может чувствовать себя как за каменной стеной. Сам же Геннадий Петрович отчасти походил на Вилку, только выросшего и повзрослевшего, был также безнадежно худ и белобрыс, да еще плешь явно и нахально успела обозначить себя посреди и без того реденьких волосенок его макушки. О безумной и внезапной его любви к Татьяне Николаевне говорить, конечно же, было глупо и легкомысленно, но из всех зол в этот момент его жизни Геннадий Петрович выбрал наименьшее, под чем с готовностью и подписывался. И не только он. Старшие Вербицкие на сей раз с сыном согласились и Танечкино появление восприняли с энтузиазмом. Нужным бумагам, и так сверх меры залежавшимся, тут же придали ход, и свадьба и отъезд были назначены на немыслимо кратчайшие сроки. Словно старшие Вербицкие опасались, как бы Геночка вдруг не передумал и не испортил все дело.

И вот завтра уж и свадьба. Танечка вздохнула, но тут же застенчиво улыбнулась. Еще есть шикарнейшее платье и все, что полагается невесте, плюс целая куча иных подарков от будущих свекра и свекрови. И не только ей. Много чего еще Вербицкие привезли ее старень-

кой маме, когда настоятельно пожелали навестить дом Пуховых. И остались, между прочим, довольны. Танечка и мама лицом в грязь не ударили. Стол накрыли, хоть и не богатый, но очень интеллигентный. А количество книжных полок в их квартире Вербицких впечатлило. Еще бы! Недаром же Танечкина мама всю жизнь проработала в издательстве «Наука» и даже дослужилась до редакторского чина. Правда, кроме книг и нескольких автографов от замечательных людей в их скромной квартирке у Калужской станции метро не имелось ничего сколько-нибудь действительно ценного. Но Вербицким и это обстоятельство пришлось по вкусу. Чего надо из материальных ценностей они и сами с лихвой добудут, и это несмотря на то, что уже и так есть в избытке. Может, оно даже к лучшему, что девушка из скромной, хотя и вполне достойной семьи. Такая своевольничать и капризничать сверх меры не станет, как иная высокопоставленная дочка, а Геночка будет под присмотром и в надежных руках. В этом Вербицкие как раз не сомневались, слава богу, долгая и тернистая жизнь на горних высотах научила их разбираться в людях. К тому же биография Танечки Пуховой оказалась, после тщательного наведения соответствующих справок в соответствующих местах, чистой как слеза комсомолки. Годился вполне и покойный Танечкин папа, бывший при жизни ответственным литсотрудником в «Пионерской правде» и скончавшийся от прободной язвы желудка. И отсутствие родственников иных национальностей, в частности еврейской, за границей, и русско-белорусские незамутненные корни всего семейства Пуховых и лестные отзывы из Морозовской больницы, все сыграло свою положительную роль.

Каковы же собственные чувства Танечки к будущему супругу, это оставалось до конца не разрешенной загадкой и для самой Танечки. С одной стороны, что и говорить, недельное знакомство и скоропалительная свадьба с почти чужим ей человеком, но вот с другой! Не она ли сама мечтала о богатом и достойном муже, о принце на белом коне, который однажды приедет за ней и умчит в неведомые дали? Вот принц и явился, и даже на коне, то бишь, на бежевой «Волге», и скоро увезет в загадочную и загнивающую капиталистическую Вену, где только от одного вида магазинных витрин нормальные советские люди, как говорят, вполне могут съехать с катушек. К тому же Геночка ей вовсе не противен, и ей бывает временами его жаль, а этого уже достаточно для счастливого совместного проживания. Но главное – второй такой удачи в Танечиной жизни наверняка больше не будет. Удивительно, что и один-то счастливый билет выпал на ее долю. И тут уж надо не упустить.

Из всего последующего свадебного торжества Вилка по малости лет и присущих им выборочности впечатлений запомнил лишь шумную толпу, душный ресторанный зал, полный смешанных кулинарных и парфюмерных запахов, красивую, будто королева, Танечку, и впервые попробованную им «Пепси-колу». Потом Аглая Семеновна увезла распаренного и обвешенного внука домой. Для остальных гостей продолжались уже вечерние развлечения.

Спустя два дня Танечка Вербицкая вместе с супругом отбыла в обещанную Вену, откуда впоследствии регулярно присылала Вилкиной маме письма и нарядные открытки. Письма мама прочитывала и аккуратно складывала в секретер, а открытки шли в пользу Вилки, который немедленно заделался коллекционером и даже вытребовал купить ему специальный альбомчик.

О своем странном видении, случившемся с ним в Танечкиных объятиях, как и о сопровождавших ему мыслях и желаниях, Вилка давно позабыл. А уж события, воследовавшие тут же вслед за видением, он и вовсе никак с собой не связывал и связать не мог. Разве что только по-детски уверился в том, что сказка и в реальном мире иногда становится явью.

А вскоре иные впечатления и события, домашние и детсадовские, совсем уж вытеснили мысли о Танечке и ее сбывшейся мечте из Вилкиной головы.

## Уровень 2. Барышня и хулиган

Со времени Танечкиной свадьбы неспешно и незаметно прошло два года. Не то, чтобы эти два года совсем оказались лишенными событий, но и насыщенными впечатлениями Вилка бы их не назвал. Так, серединка на половинку, детсадовские, скучные будни. Расцвеченные лишь двумя наездами совместно с мужем в отпуск Татьяны Николаевны и перенесенной в старшей группе «ветрянкой». «Ветрянка» запомнилась не лишенным приятности сидением в домашнем карантине, визит Танечки – приличным озерцом заморских подарков, как-то: пузырчатых, жевательных резинок, детских, но всамделишных джинсовых штанов, фирменного водяного пистолета и шикарной радиоуправляемой машины.

А потом Вилка пошел в школу. Но не в простую, как бы с будущим математическим уклоном. Школа имела гордый номер «2», и оттого ее несовершеннолетних постояльцев именovali в просторечье «второшкольниками». Почему и отчего Мошкин Вилим Александрович был заранее определен в математики, требует отдельного пояснения.

Случилось так, что мама Люда, пребывая в естественных томлениях одинокой и разведенной женщины, более не захотела разделять свое отшельничество только с Вилкой и Аглаей Семеновной. Но, будучи уже умудренной печальным опытом предыдущего брака, к делу на этот раз подошла основательно и серьезно. И постановила: отныне никаких веселых и симпатичных молодых дарований, поющих в компаниях под гитару и с гусарской лихостью опрокидывающих рюмки! Рассмотрению подлежали только лишь исключительно положительные, ответственные, пусть и занудные, мужские особи. Таких особей в окружении Людмилы Ростиславовны оказалось равным счетом одна. А именно: некто Викентий Барсуков, по отчеству Родионович.

Знакомство с Викентием Родионовичем мама Люда свела почти случайно. Хотя их встреча была вполне закономерна и отвечала жизненным пожеланиям обоих.

Людмила Ростиславовна, преподаватель русского языка для иностранных студентов, применение своим способностям нашла в новоиспеченном, втором по значению в столице, университете им. Лумумбы. Кое заведение являло собой пример горячей дружбы между народами, преимущественно из стран третьего мира. Материальным воплощением этой дружбы и оказались однажды дефицитные билеты на закрытый просмотр французской фестивальной ленты в Доме Кино, пожертвованные добродушным кубинским студентом, родственником чуть ли не самого Кастро, в благодарность за незаслуженно хорошую оценку. И Людмила Ростиславовна вдвоем с коллегой и почти подругой Серафимой Юрьевной на просмотр, конечно же, пошла.

В тот же самый день и на тот же самый просмотр пришел и Викентий Родионович, лицо на мехмате МГУ значительное, а именно числившееся в учебной части, как начальник третьего курса. И был Викентий Родионович не простым начальником курса, еще и партийным активистом и членом факультетского партбюро. А также лучшим другом освобожденного профорга. От которого и получил заветный билет. Нельзя сказать, чтобы Викентий Родионович жить не мог без французского кино, но добро по его понятиям не должно было пропадать зря.

На просмотре товарищ Барсуков и познакомился с мамой Вилки. А спустя недолгое время и с бабушкой, Аглаей Семеновной, которой сразу показался своей явной непробиваемой благонадежностью, и с самим Вилкой, воспринявшим нового маминого знакомого скорее как ненужную мебель в доме, чем как будущего второго папу.

Дело между двумя заинтересованными сторонами сладилось быстро. Уже через пару месяцев Викентий Родионович полноправным отчимом и мужем въехал на жилплощадь своей жены, которую в то же самое время стремительно покинула новоиспеченная теща. Аглая Семеновна, дама предусмотрительная и благоразумная, поступила мудро и дальновидно, перебравшись в однокомнатную, но вполне комфортабельную квартиру зятя на проспекте Вернадского.



Нет-нет, ссор и недоразумений между новоявленными родственниками не было никаких. Ни Аглая Семеновна, ни уж тем более правильный товарищ Барсуков не дали потенциальным конфликтам ни времени, ни повода. Не успели. Отъезд Вилкиной бабушки явился приемом не тактического, но глобально стратегического свойства. Аглая Семеновна здраво рассудила, что появление в их квартире чересчур положительного и морально устойчивого зятя не послужит к ее чести. В отличие от легковесного Мошкина нового главу их семьи порицать и пилить Аглае Семеновне скорее всего будет не за что, и у дочери вряд ли найдется весомая причина прилюдно плакаться на материнском плече. А вот товарищ Барсуков, при своей педантичной въедливости и дотошности, очень даже может делать пенсионерке-теще неприятные замечания по поводу ведения совместного хозяйства. Аглая Семеновна же окончательно уверилась в правильности своих предположений, когда, в день ее отбытия, Викентий Родионович хоть и добросовестно помогал ей с хлопотами по переезду, однако, лицо его отображало и некоторое недовольство. Но уж тут фигушки! Хватит с него начальствовать над дочерью и внуком – Аглая Семеновна как-нибудь, да будет сама себе голова!

Так, Вилка поступил юнгой, а потом и рядовым матросом под начало нового и справедливого капитана их маленького семейного судна.

Викентий Родионович, как было уже упомянуто вскользь ранее, ко всему на свете подходил основательно и вдумчиво. За отсутствием собственных детей и желания иметь их в будущем, он принял решение вырастить и достойно воспитать своего пасынка. От принятых им решений Викентий Родионович не отступал, назло всему мировому беспорядку даже в сильных форс-мажорных обстоятельствах. Потому, вспомнив своевременно о занимаемой им должности и связанных с нею перспективах, вплоть до заместителя декана по учебной части, Барсуков позаботился о соответствующей подготовке юного Вилки заранее. И, подняв некоторые связи, определил мальчика в школу с математическим уклоном. Надо ли говорить, что самого Вилку о его желаниях никто спросить не удосужился. Да и какой спрос мог быть с несмышленного семилетнего мальчугана?

Нельзя сказать, чтобы Вилка сильно недолюбливал своего нового папашу, или открыто выражал к нему неприязнь. Ничего подобного и в помине не было. Викентий Родионович вовсе не являлся возмутителем Вилкиного спокойствия. Но и намек на подлинно отцовские чувства к пасынку не испытывал. Скорее отношения между ними напоминали прямую «учитель – ученик», с тем отличием, что ученик был как бы «блатным» и оттого требовал к себе особенного внимания. Сам же Вилка воспринимал Барсукова как неизбежную, вновь возникшую, но скучную реальность, данную ему в ощущение, что мало отличалось от его первоначального мнения о Викентии Родионовиче, как о лишней мебели в их доме. Все же Вилка, несмотря на малый возраст, был объективен, и к отчиму не возвращал в себе вражды. Викентия Родионовича Барсукова младший Мошкин попросту не уважал. Но и только. Внешне же подчинялся всем его требованиям и порядкам, благо те не слишком обременяли его детскую жизнь, а даже пригодились в будущем. Как то: держать в чистоте свою комнатку, по часам ложиться спать и делать домашние задания, аккуратно складывать одежду и определять каждой вещи свое место.

Если что и раздражало изредка Вилку, то только лишь отношение Барсукова, слишком хозяйское, к его матери. Получалось, что Вилкина мама большей своей частью принадлежит этому, по сути, чужому им дядьке, а потом уже малышу Вилке. Но, видя, что мама вполне счастлива и довольна таким положением дел, Вилка молчал и изгонял свою небольшую обиду подальше с глаз долой. Сам же он точно так же, как и отчим, не собирался обременять себя проявлениями излишних родственных чувств. Так, своим чередом, домашняя его жизнь протекала относительно спокойно.

Чего никак нельзя было сказать о жизни школьной. То есть, первый и второй классы Вилка окончил вполне успешно и даже оказался отмеченным учителями и двумя похвальными грамотами. Приобрел он и друзей, пусть не очень близких: во «вторую» школу детей приво-

зили со всего города, и приятели его жили далеко друг от друга, что не очень способствовало тесному общению. Но и Вилка отнюдь к закадычной дружбе с одноклассниками пока не стремился. Словом, до третьего года его пребывания в школе, жизнь младшего Мошкина напоминала невозмутимое никаким ветром болото. Всех событий и было, что два приезда его дорогой Танечки, да летний отдых с бабушкой в Евпатории по дефицитной профсоюзной путевке.

Однако уже в третьем классе существование его внезапно круто изменилась, и стало вдруг напоминать совсем не болото, а стремительную, грохочущую перекатами реку. Причин тому было две. В их третьем «А» появился Борька Аделаидов. И Вилка заметил Анечку Булавинову.

Конечно, Вилка заметил Анечку не только в тот день на линейке первого сентября. Анечка уже два года училась в их школе и даже в его собственном классе. Но именно в праздничный день начала третьего учебного года Вилка «заметил» ее по-настоящему. Уж очень Анечка была красива и необыкновенна в то солнечное утро. За лето она отрезала невыразительную косу и приобрела аккуратную, волнующую стрижку «под пажа». Прямые, но необычайно густые и пышные, пепельные ее волосы образовывали теперь словно бы сияющий нимб вокруг Анечкиной головы. Сверху венчал прическу кокетливо приколотый белый, велюровый бант. Лицо ее, по-детски совершенно еще неопределенное, в обрамлении блестящих, чисто вымытых волос, показалось Вилке прекрасным и милым, а темно-серые глаза – кукольными и сказочными.

Можно было бы сказать, что Вилку поразила любовь с первого взгляда, если бы чувство, испытываемое им под впечатлением Анечкиной внешности, не явило себя столь наивным образом. Вилка вовсе и не подумал о том, чтобы как-то обратить на себя внимание девочки и в меру сил и фантазии поухаживать за ней. Его даже в мыслях не привлекало ни преданное ношение портфеля, ни дарение конфет и ластиков. Скорее Вилке захотелось ощущать как можно ближе и дольше Анечкино присутствие, возможно, потрогать ее волосы и взять девочку за руку, словом вести себя так, будто Анечка была не настоящая Анечка, а ее игрушечная копия. И Вилка прямо на линейке самозабвенно предался созерцанию этой кукольной, новой Анечки.

Удар, обрушившийся сзади и сверху на ранец, был сокрушителен. Одновременно Вилка получил сильный толчок под коленки и, не удержав равновесия, рухнул вбок мешком прямо на асфальт школьного двора, чуть не сбив с ног пяток плотно стоявших вокруг одноклассников. На него зашикали, а учительница Вера Алексеевна энергично погрозила Вилке пальцем из первой шеренги. Вилка быстренько поднялся на ноги, сердитый и слегка обалдевший от неожиданности, и огляделся вокруг, пытаясь установить виновника своего позорного падения. Подобные дурацкие шутки в их мирном классе совсем не были в обычае.

– Саечка за испуг! – раздался мерзкий чужой голос, и Вилка получил болезненный тычок в нос. – Чего раззявился, жених? Ха-а-а!

Голос был доселе никоим образом Вилке незнаком, как и его обладатель. Позади Мошкина стоял, ухмыляясь во весь огромный, лягушачий рот, неизвестно как затесавшийся в нестройную колонну их 3«А» совершенно чужой пацан. Обалдевший до изумления Вилка, вместо того, чтобы дать обидчику сдачи, спросил:

– Ты кто?

– Конь в пальто! – грубо сказал незнакомый пацан и гаденько засмеялся.

Вилка не нашелся, что и ответить. Стоявший рядом с ним в паре Зуля Матвеев тут же его и просветил:

– Да это новенький. Теперь будет с нами учиться. Его Борькой зовут, а фамилию не помню, – и, боязливо оглянувшись в пол-оборота назад, Зуля скорбно вздохнул:

– Вот уж счастье подвалило, не пересказать!

С этого мига Вилкина спокойная житуха и прекратила свое ровное и сонное течение. Чем так уж с первого впечатления он не приглянулся Аделаидову, бог знает. Может Борька

тоже «заметил» Анечку и Вилкино явное внимание к ней вызвало в нем злобу. Может, просто несчастливая судьба поставила Вилку Мошкина в тот роковой день на линейке прямо перед носом скучающего новичка. И Борька скучать перестал, а Вилка сразу не дал ему отпора, и Борька понял: можно! Только факт остается фактом – с той самой праздничной линейки Вилка стал любимым и несменяемым объектом Борькиных хулиганских выходов.

Однако же сам Аделаидов не был «хулиганом» в классическом понимании этого слова. Обычный хулиган – это здоровенный детина на голову выше своих погодков, желательно рыжий и вихрастый, громогласный и тупой, непременно двоечник и разгильдяй. По сценарию такого полагается задабривать карманными деньгами и давать списывать домашние задания.

Но Борька в школьных гривенниках не нуждался, своих имел в избытке. И с заданиями справлялся вполне сносно, без посторонней помощи. Роста Аделаидов тоже был самого обыкновенного, лишь на какой-то жалкий сантиметр выше Вилки. И не рыжий, и не вихрастый, а совсем даже наоборот: гладенько прилизанный брюнет с тонкими чертами лица. Можно сказать, даже красивого лица, если бы не излишне большой, тонкогубый рот и, видимо в противовес ему, толстенные, почти сросшиеся у переносицы черные брови. Брежневские! Гадил он Мошкину больше исподтишка, подкрадываясь незаметно, но добиваясь эффекта обязательно при зрителях. Иногда Вилке казалось, что свои пакости Аделаидов тщательно обдумывает и готовит заранее, а не действует по наитию и обстоятельствам.

Сперва Вилка пытался справиться с «хулиганом» собственными силами, например, дать в ухо или в нос. Но не выходило. Борька всегда обставлялся таким образом, что подготовленные им пакости случались на виду у учителей и как бы сами собой. К примеру, тетради и учебники, мирно оставленные в ранце у парты на перемене, к уроку, когда Вилка извлекал их на свет божий, вдруг оказывались залитыми канцелярским клеем. Вера Алексеевна бранила Вилку за нерадивость и незакрытую как следует баночку, а Борька подмигивал и тишком показывал Мошкину язык: мол, не сомневайся, знай наших! Вера Алексеевна и другие учителя в подобных обстоятельствах попытки Вилки оправдаться и вывести истинного виновника на чистую воду всерьез не воспринимали, позже и бранили Вилку за пустые выдумки и ложь.

Учителей тоже можно было понять. Вера Алексеевна, дама относительно справедливая и далеко не вредная, возможно, и догадывалась о том, как в действительности обстоят дела. Но связываться с Аделаидовым не желала. Тому имела веселая причина. А именно – папа Борьки, академик Аделаидов, директор внушительного ядерного института и депутат не менее внушительного Верховного Совета. Потому стоит ли удивляться что Вилка, такого папы не имеющий, поддержки у «первой своей учительницы» не нашел. К тому же хитрый Борька школьного распорядка не нарушал, учился в меру своих сил и весьма неплохо, а затевать чреватое расследование Вере Алексеевне совсем не хотелось.

Одноклассники, в частности ближайший друг и сосед по парте Зуля, вступаться за Вилку тоже не желали. Матвеев и многие другие, конечно же, знали правду, но неизвестно, кого взамен Вилки неугомонный академик сын может избрать в свои очередные жертвы. Получалось себе дороже. Что думала по этому поводу Анечка, оставалось загадкой. Вилке никакого сочувствия красавица не выражала, но и домогательства Аделаидова отвергала решительно и безбоязненно. К примеру, довольно грубо отшивала Борьку с его предложением довезти до дома на зеркально вымытой папашинной служебной «Волге», и ехала с подругами в переполненном метро все остановки, а после еще автобусом. Вилка был уверен, что милая и прекрасная Анечка ничуть Аделаидову не нравится. Пристает же он лишь из желания досадить Мошкину и унижить его в Анечкиных глазах.

Дома острый вопрос в свою очередь не встретил сочувствия. Мама, Людмила Ростиславовна, сына, безусловно, обожала и любому бы выпарапала за Вилку глаза. Но явных и внятных обвинений в адрес негодяя Аделаидова Вилка на свою беду высказать не мог. Улики были лишь косвенными и утверждения голословными. Оттого мама пришла к вполне законному выводу,

что ее ненаглядный сынок попросту пытается увильнуть от ответственности, сваливая вину на другого. Отчим и вовсе был категоричен:

– Не можешь вести себя, как положено, так имей смелость признаться! – гремел Викентий Родионович с кухни, доедая куриный бульон. – И на кого сваливает! На сына ТАКОГО товарища! Не может быть, чтобы всеми уважаемый и знаменитый ученый воспитал Бориса непорядочным человеком!

И далее все в подобном же духе. Только академик своего Борьку не воспитывал, и жена академика, Борькина мачеха, его тоже не воспитывала. Не обременяла себя. Аделаидов полностью и безраздельно был в ведении домработницы Таси, глупой и вульгарной, но работающей бабы, вороватой и вне дома падкой на ЖЭКовских электриков и водопроводчиков. Но и Тася на Борьку никакой реальной управы не имела, а единственно потакала во всем шкодливому барчуку, да время от времени выдавала ему в увлекательной форме мещанские сентенции о подлости и несправедливости жизни.

Так Вилка остался с «хулиганом» один на один. Сперва он мужественно попробовал по совету своего соседа Зули «быть выше» и не заморачиваться, а делать вид, что Аделаидова вовсе не существует на свете. И некоторое время Вилке это удавалось. Пока однажды...

Однажды под Новый Год, то есть на четвертый месяц Вилкиных тайных мучений, внепланово прибыла в столицу Танечка Вербицкая, намеревавшаяся на родине произвести, наконец, на свет в Кремлевской клинике первенца Геннадия Петровичу. И, как водится, привезла страшно дефицитные в Москве подарки. В числе оных был великолепный набор заграничных фломастеров в количестве, страшно сказать, тридцати шести штук. Но у Вилки оставался почти нетронутым сбереженный еще с поры летних презентов такой же точно набор, с другой лишь картинкой. В отношении же Анечки его чувства из стадии безмолвного созерцания выступили к этому времени в период острого желания поражать предмет своего восхищения и подкреплять симпатии подарками. И второй набор Вилка предназначил Анечке. Мама, правильно и проницательно оценив душевное состояние сына, к его намерению отнеслась благосклонно и щедрый жест дозволила. Правда, потихоньку от Барсукова. Но, как бы то ни было, в последний школьный день перед каникулами Вилка отправился на дело, вооруженный драгоценным набором.

В последний день перед новогодними каникулами, как это водится во всех приличных школах, была назначена елка. Три коротких урока по полчаса и, добро пожаловать в актовыв зал к Деду Морозу! Само собой, не в школьной форме, а в карнавальных костюмах, и не каких придется, но тематических. Третьему «А», к примеру, предстояло изображать пред публикой две коротенькие сценки: одну из «Трех поросят», другую, посложнее, из «Буратино».

Вилке, как ни странно, досталась в самодеятельной постановке роль Пьеро. Обязан этим он был скорее худобе и несколько унылому внешнему виду, чем личным актерским данным, но училка по ритмике назначила именно Вилку. К тому же, несмотря на кажущееся тщедушие, Вилка обладал довольно громким и на удивление низким голосом, и от природы был наделен недурным слухом, правда, далеко не абсолютным. Вилка ни за что на роль бы не согласился, если б, упаси боже, Мальвину играла Анечка, но исполнять подружку Пьеро была определена совсем другая девочка, Ленка Торышева, кривляка и задавака. Читать ей стихи грустного Пьеро вслух Вилка мог совершенно спокойно, не чувствуя ни малейшего душевного волнения, как если бы обращался к стенду с учебными пособиями.

Переодеваться к празднику полагалось в физкультурных раздевалках. В мальчишечьей и девчоночьей соответственно. Вилка же от нерешительности дотянул резину с фломастерами до того, что ушел в раздевалку, так ничего Анечке и не вручив: ни нарядной коробки, ни самодельной, нарисованной на куске ватмана открытки с поздравлением. Но, переодевшись в белый, украшенный помпошками, балахон, понял, что откладывать более нельзя. Не караулить же Анечку после праздника возле раздевалки для девочек, ведь засмеют! Вилка вздохнул, успо-

каивая зачистившее было сердце, и полез в ранец. Можно отдать коробку и сейчас, до ухода в актовый зал. Анечка еще успеет сбегать в свою часть раздевалки и убрать подарок в портфель. А там Вилке уж выступать, и с Анечкой говорить не придется, по крайней мере, сразу.

Так, с коробкой и открыткой, Вилка двинулся навстречу судьбе. Он был настолько целиком поглощен безмолвной репетицией текста, который скажет Анечке, вручая свой новогодний презент, что не глядел ни под ноги, ни, тем более по сторонам, и уж совершенно вылетел из его головы подлый Аделаидов, совсем лишний в такой важный для Вилки момент. «Аня, возьми, это тебе!» Нет, лучше так: «Аня, с Новым Годом тебя!». Отдать коробку и все, она поймет. Вилка шел и репетировал свою коронную фразу, и до Борьки Аделаидова ему не было никакого дела.

А вот у Борьки к Мошкину дело было, да еще какое. Вилка почти что благополучно дошел до своей Анечки, стоявшей в миленьком костюме поросенка с двумя другими подружками-поросятами, как вдруг, словно из-под земли, перед ним выскочил Аделаидов. Аккуратная подножка, и вот Вилка уже растянулся на полу во весь рост. Фломастеры, драгоценные фломастеры выскочили всеором из картонной коробки и летят, и катятся вокруг по паркету. Сволочь Аделаидов делает вид, что не может удержать равновесия, машет руками, и будто случайно наступает на один, другой, третий, десятый фломастеры, давит их в цветную, пластиковую кашу, пачкает ботинком открытку. Боже! Вилка все еще лежит носом на полу и видит только коричневый Борькин башмак и ошметки Анечкиного подарка вокруг. Вставать уже незачем и не хочется, но Вилку поднимает вверх некая сила, ставит на ноги и заставляет смотреть в противную, картинно издевательски перепуганную рожу Аделаидова. У силы есть имя, грозное и злое, как она сама: ненависть.

Ощущение было настолько новым, что Вилка на миг задохнулся. И удивился. Такого с ним еще не случалось. Никогда. То есть, конечно, ему приходилось в своей короткой жизни испытывать не только положительные эмоции, но и иные, весьма разнообразные в их неприятности, ощущения. Злобу, раздражение, досаду, обиду, хотя бы из-за того же Аделаидова. Но все это оказалось совсем не тем, на что походило нынешнее его чувство. Прежние его обиды и досады были, как говорится, пустяки, дело житейское, это же состояние, стремительное и всеохватное, даже и сравнить не находилось с чем. Будто запомнившаяся ему строчка из песни только что вышедшего и жутко популярного фильма, сразу же возникшая в Вилкиной голове. «Колоть – колол, но разве ж ненавидел?» Нет, не ненавидел. ТАК – никого и никогда.

И вот он, Вилка Мошкин, стоит и смотрит на своего врага, и Анечка, пусть не со зла, но смеется, не подозревая, что это растерзаны ЕЕ фломастеры, и только добавляет в его ненависть огня. Сам Вилка уже знает, что сейчас он кинется на эту сволочь, Борьку, и, держите меня трое! И будь, что будет после. Пусть хоть из школы исключают. Ему так здорово и восхитительно в этот миг, что на последствия – плевать! Для нападения нужна только одна последняя, но страшно важная деталь, девиз-пожелание, и он тут же выпевается в Вилкином мозгу, может не самый ужасный, но достаточный в данной ситуации. «Чтоб тебя... чтоб тебя... бешеная собака покусала, ветрянку осыпала и...»

Дальше не случилось ничего, никакого нападения на Аделаидова, – вообще ничего. Сумасшедшее, пылающее, всерьез напугавшее Борьку лицо вдруг скривилось от боли, и Вилка осел обратно на пол, бледный, схватившийся за голову. К нему уже бежала со всех ног Вера Алексеевна. Потом возникли медпункт и мерзкое, жидкое лекарство, кажется, капли валерианы. Вилка не помнил. Выступать на празднике он не смог, костюм Пьеро был срочно переодет на Зулю Матвеева, а Вилка, совсем расхворавшийся, с мамой поехал домой.

Но выступление и мамины тревоги, все это были несущественные пустяки. Вилку напугало другое. В тот момент, когда проклятия в Борькин адрес уже вырывались на свободу из его нутра, произошло странное. Перед глазами, как будто из взорвавшейся водяной бомбы, вспыхнули ослепительно белые и желтые цвета, знакомые до боли, словно бы виденные уже

раньше, но вот где и когда? С жуткой скоростью бело-желтые колючие брызги стали скручиваться в угольно-черную спираль, и Вилка ощутил что-то похожее на то, как если б с размаху налетел на глухую, пружинящую назад стену. Вилка мысленно попытался пробиться через преграду и мысленно же кинулся вперед еще раз. Стена снова отбросила его назад, но уже не столь решительно, словно поддалась и начала таять. Но тут же пришла боль. Голова вспыхнула холодным, пронизывающим огнем так внезапно-мучительно, и Вилка не устоял на ногах. Что было дальше, Мошкин Вилим Александрович помнил уже смутно.

### Уровень 3. Все маленькие звери

Со дня злополучной той елки минуло еще два года. Своим ходом, год за годом. Странный приступ оглушающей мигрени с Вилкой больше не повторялся, и воспоминания о неведомой и внезапной болезни, поразившей Вилку на Новогоднем празднике, постепенно стерлись из памяти. Мама и отчим списали все на шок от падения и утраты дорогого подарочного набора. Правда, мама соврала Викентию Родионовичу, сказав, что фломастеры были предназначены Вилкиной учительнице. И Вилка вдобавок получил от Барсукова выговор за ротозейство и разгильдяйство, за разбазаривание ценного достояния, кое он, Барсуков, мог, например, с пользой для себя и для семьи поднести товарищу заместителю декана по учебной части. Но бог с ним, с Барсуковым. Главным было то обстоятельство, что Вилка, накрепко запомнив предыдущие жизненные уроки, ни словом не обмолвился о подлой Борькиной подножке.

Но и Аделаидов с той поры к Вилке переменился. И Вилка Мошкин ни за что бы не признал, что эта перемена ему по душе. Нет, Борька более его не мучил и не задира. Он даже начисто перестал замечать само Вилкино существование. Что-то отпугнуло «хулигана», и Вилка, пожалуй, догадывался, что именно. Но то было затишье перед бурей. Очень долгое затишье перед очень нехорошей и зловещей бурей. Вилка это знал наверняка, именно знал, а не чувствовал или интуитивно предполагал.

Тем не менее, внешнее бытие пятиклассника Мошкина обстояло вполне благополучно. Хотя в его собственном мире стали происходить события. И чем дальше, тем больше этих событий становилось. Хотя, возможно, вокруг Вилки жизнь и раньше была ключом, но по малолетству он не придавал событиям их нынешних значений и не интересовался ими глубоко.

Взять ну хоть бы торжественное прошлогоднее вступление в пионеры. Когда давным-давно первоклашке Мошкину прицепили на школьную, синюю курточку значок-звездочку с кудрявым, щекастым мальчуганом, Вилка воспринял сей факт почти равнодушно. Подумаешь, октябренок! Ведь не космонавт же. Все как у всех, и никакого интереса. Бронзового мальчика, похожего на пухлого ангелочка со старинного бабушкиного, еще дореволюционного сервиза, с вечно живым «дедушкой» Лениным Вилка Мошкин никак не отождествлял. Да, собственно, красочные с обложки жизнеописания вождя, вышедшие из-под пера Прилежаевой и подобных ей авторов, Вилка находил одинаково нудными и читал лишь по школьной необходимости. Это же не «Три мушкетера» и даже не «Два капитана», а один до тошноты умный и правильный дотошный мальчик, выпиливающий лобзиком деревянный подарок маме и собирающийся «идти другим путем». Не то и не так обстояло дело с пионерским галстуком. Тут уж пришлось зубрить лозунги и «Взвейтесь кострами!», и существовала неприятная, позорная вероятность, что именно его могут в пионеры не принять. Лишить «взрослого» красного галстука и нового значка.

Занимали Вилку и непростые Танечкины дела. Пройти мимо них было невозможно, а разобраться – нелегко. Потому что у Танечки то и дело возникали «проблемы». Настоящие, взрослые проблемы, но Вилку они затрагивали непосредственно. Вот уже прошел целый год с тех пор, как Вербицкие-младшие в полном составе вернулись в родную Москву. Геннадий Петрович получил доходную и значительную должность во Внешторгбанке, Татьяна Николаевна же более работать не стала, озабоченная исключительно домом, мужем и ребенком. Но со временем, возможно, из-за пребывания в советских реалиях относительной верховной вседозволенности, благополучную на вид семью Вербицких стали навещать «проблемы».

Танечка Вербицкая, как и ее «проблемы», материализовывалась в Вилкином пространстве с закономерной периодичностью. Можно сказать, волнообразно. Волна эта находилась в состоянии прилива обычно, когда у Танечки возникали неприятности на семейном фронте, и в состоянии отлива, когда невзгоды рассасывались, исчезали как бы сами собой.

Когда Танечкина супружеская жизнь пребывала в мире и покое, сама Танечка объявлялась на горизонте семейства Мошкиных только в обязательные для посещений праздники и дни рождений. В иное время – лишь изредка звонила Люсе, то бишь Вилкиной маме. Отмечалась и посылала сигнал: «Помню, не забыла, если что, обращайтесь». Не то, чтобы Танечка чуралась Мошкиных или имела сверху запрет на близкое общение. Вовсе нет. Но после своего удивительного замужества Татьяна Николаевна стала обращаться в иных, высших сферах и обрела многие обязательные знакомства и связи, которые требовали от нее немало времени и сил. И, конечно же, дочка, Катя, румяная, как яблочко, Катенька-котенок, которую Танечка не доверяла ни одной из высокопрофессиональных номенклатурных нянь, как то было принято в ее нынешнем круге общения.

Мошкины не обижались. Все все понимали, и не делали из мухи слона. Только иногда ворчал Барсуков:

– Так в начальниках курса можно и до пенсии проходить! Роман Петрович, ничего не скажу, славный человек, семь бед ему в печенку! но ему ведь сорок шесть! Когда он еще на пенсию уйдет, и уйдет ли? А выше его должности уже некуда! Зам. по учебной – это ж предел!

– Господи, Кеша, что ты от меня хочешь? – сердито вздыхала в ответ мама, хотя знала прекрасно, чего хочет и к чему клонит Барсуков. Подобные мотивы уже звучали в доме не раз.

– Что я хочу?! Будто мне одному надо! Мне лично вообще ничего не надо! – тут Барсуков конечно загибал. Ему надо было и много и чего, Вилка это вычислил про него еще черт знает когда. – Даже если Роман уйдет, что дальше, а? Дальше-то что? Зам. по учебной части и все, потолок! Сто рублей к окладу и это в лучшем случае!

– Кеша, сто рублей большие деньги. Тем более каждый месяц, – резонно замечала мама.

– Ах, Люда, перестань. Не в деньгах же дело. Ты пойми – самое главное это перспективы. П-е-р-с-п-е-к-т-и-в-ы! А какие перспективы у зама по учебной? Сказать смешно, по сравнению с другими жизненными возможностями.

– Какими возможностями, Кеша? Ты еще не зам. и неизвестно, когда им будешь, и будешь ли. Ну, чего гадать? – обречено вздыхала Людмила Ростиславовна.

– Именно. Именно, Людочка. Ничего неизвестно. Будет – не будет. А у нас, между прочим, мальчик растет, – во время подобных дебатов Барсуков всегда говорил «у нас», не то что, когда бранил Вилку за детские провинности. Тогда звучало иначе: «у тебя, Людочка, сын, безобразно себя ведет». Ну да бог, с ним, Вилке это было до лампочки.

– Ну, хорошо, – сдавалась в конце концов мама, – что ты предлагаешь?

– Почему бы тебе не попросить твою подругу, ты понимаешь о ком я, о небольшом одолжении? Заметь, что ты никогда ни о чем ее не просила и один раз вполне возможно. Тем более что по существенному, жизненно важному поводу. Хорошую должность с выездом за границу. Для ее мужа это же пустяки.

– Это вовсе не пустяки. И потом, почему бы тебе не попросить самому? Танечка бывает у нас в доме. И вообще, мы же в прошлом году ходили к ним дважды: на Танечкин день рождения и на Катенькин, и тебя представили Геннадия Петровичу. И в этом году, наверное, пойдем. Вот и попроси. Сам. И не у Танечки, а прямо у Гены. И не морочь мне голову.

– Ну, как ты не понимаешь, Люда! Я для них случайный, чужой человек. Посмеются и отвернутся, и никто ничего не даст. Другое дело ты! Вы с Татьяной Николаевной с детства знакомы, когда-то были близкими подругами.

– Мы и теперь близкие подруги. За кем бы там Таня ни была замужем, это ничего не меняет, – мама в этом месте всегда начинала злиться.

– Тем более. Тем более! Просить должна именно ты. Ну, как ты не понимаешь таких простых вещей!

– Я просить не буду. Ни за что и никогда, – всегда одинаково категорично отрезала мама, – хочешь, сам проси. А я не буду. И все. И хватит об этом... Это просто немыслимо.



И мама не просила. Хотя, действительно, могла. И Танечка бы не отказала. Тем более, в период бурь и катаклизмов, то и дело нарушавших мирное течение ее жизни. Как раз в эти периоды Танечка объявлялась в доме старой и по сути единственной своей подруги особенно часто. Приезжала она обычно в обед, когда у Людмилы Ростиславовны выдавались дни с неполной нагрузкой и без срочных дел на кафедре. Видно было, что Танечка старается избегать разговоров о своих неурядицах в присутствии Барсукова. Правда, Викентий Родионович тем разговорам не мешал. Как раз наоборот, тактично уходил на кухню или делал вид, что имеет срочные занятия в Вилкиной комнате. Но уж слишком лебезил он пред Татьяной Николаевной, сверх меры сладким голосом обращался к дорогой гостье и разве что не сгибался пополам в поклонах и не шаркал ножкой. Вилка думал, что от этого глупого поведения отчима Танечка и стала избегать с ним встреч. Еще бы, кому приятно будет такое подхалимство! Вилке ни за что приятно бы не было! Танечку же он жалел.

Татьяна Николаевна в доме появлялась всегда неожиданно. Вилка приезжал днем из школы и на тебе! Нечаянная радость – заставал за чаепитием маму и Танечку. Дело тут было, конечно, не в маленьких, хотя и ценных для Вилки подарках, которые Танечка никогда не забывала прихватить для сына подруги – Вилку она любила. Нет, дело было совсем не в этом, а в чем именно, Вилка представлял себе смутно. Ведь, в самом деле: ну чему радоваться, когда расстроенная женщина чуть ли не в буквальном смысле плачет подруге в жилетку? Но Вилка знал одно – он и Танечка каким-то непонятным, чудесным образом связаны друг с другом в единое целое, хотя Танечка этого наверняка не понимает. Он садился всегда рядом с женщинами, и те не прогоняли его. Пил чай и слушал, слушал, слушал. О том, что у Гены опять был срыв, что на три дня муж и отец семейства ударился в загул и дома не только не ночевал, но даже и не объявлялся. Что Танечка мужественно скрывала его отсутствие от старших Вербицких. Что на четвертый день Гена, наконец, обозначился в виде, совершенно неподобающем для человека порядочного и семейного, напугав домработницу и маленькую Катю. Что вот уже неделю как он пропадает вечерами, приходит очень поздно и «под шафе», и от него несет гнусными, копеечными духами. От Танечки он только виновато шарахается и строго придерживается амплуа глухонемого Герасима. А Танечкина мама категорично и решительно настаивает на том, что довольно терпеть безобразия, и, немедленно собирать вещи! ее и ребенка, и возвращаться на собственную жилплощадь, гори вся эта элитная жизнь синим пламенем. На то она и мама. А Танечка не хочет домой. Она любит своего Генку, вот незадача! поэтому хочет жить с ним и с Катенькой тихо и счастливо. Чем же она виновата? И почему все не так?

Вилка не знал, отчего все не так и ответить на Танечкин вопрос, заданный в пустоту, не мог. Но внутреннее шестое, а может седьмое или десятое, чувство вещало ему, что он, Вилка, как раз и есть тот единственный на свете человек, который, за исключением Господа Бога, может дать Танечке ответ, только пока не понимает, как извлечь этот ответ наружу. И еще Вилка был безоговорочно уверен, что по той же самой причине, по которой он должен ответ Танечке, в его власти помочь ей и даже дать нечто большее, чем помощь. Но, в реальности как помочь Татьяне Николаевне Вилка придумать не мог, и оттого просто сидел рядом и от души жалел ее и желал счастья, мира и покоя, чтобы все-все наконец утряслось, и шелапутный Геннадий Петрович все же взялся за ум. Он мысленно будто переливал эти пожелания из собственного тела в Танечкино, и ему становилось мягко, радостно и хорошо. И Танечка успокаивалась тоже. После чего всегда говорила примерно одинаковое:

– Знаешь, Люся, посидела я тут с вами, и как-то все иначе стало. Будто заново на свет народилась. Будто другой человек. Хорошо у вас в доме, тепло. – Потом Татьяна Николаевна задумывалась и делала всегда странный вывод:

– У вас здесь, наверно, аура особенная. Ты, Люся, в это не веришь, я знаю. Но точно тебе говорю: меня кто-то нарочно глазит. А ты снимаешь. А может не ты, а Вилечка.

Тут Танечка всегда начинала смеяться, трепать Вилку за волосы, щипать за щеки, целовать в реденькую, светлую макушку. Вилка не сопротивлялся, ему нравилось, и он смеялся тоже. Потом Танечка уходила. А, вернувшись домой, как правило, заставляла там раскаивающегося и готового стать примерным мужем Геннадия Петровича. И тогда Танечка украдкой звонила Людмиле Ростиславовне, счастливая шептала в трубку подруге, что та ей ворожит. Жизнь ее снова входила в мирное и счастливое русло... До следующего финта младшего Вербицкого. И все начиналось сначала.

Вскоре у Танечки вошло в обычай тут же бежать с «проблемой» в дом к Мошкиным, ибо она суеверно считала хорошей приметой поделиться бедой именно с Люсей. «Ты, милая, мне удачу ворожишь» – снова и снова повторяла Танечка, а мама сердилась и говорила, что все это глупости, что Гена просто слабохарактерный, а так он очень любит Танечку и Катеньку, и от этой любви у них все и налаживается. «Нет, ворожишь, я знаю, знаю», – настаивала на своем Татьяна Николаевна, а Вилка умилялся и счастливо смеялся про себя над Танечиной наивной выдумкой... Тогда он еще, конечно, не мог знать, насколько близко Танечкина наивность подобралась к истинному положению дел.

Вообще, вокруг Вилки к тому времени сложился целый круг людей, которые в силу его симпатий, стали дороги ему или просто очень нравились, и Вилке хотелось видеть их почаще. Вилка Мошкин по существу своей натуры был безусловным и убежденным романтиком, из тех, кого серой обыденности трудно разочаровать и приземлить. Зато уж если приземлить все же удавалось, то люди, подобные Вилке, раз и навсегда бесповоротно превращались в лучшем случае в холодных мизантропов, а в худшем, не дай бог повстречаться на узкой дорожке, в беспринципных, активных циников, начисто отвергающих любые нормы морали. К тому же, как настоящий романтик, Вилка мог довольно долго существовать в собственном, лично им сконструированном пространстве, мало нуждаясь в помощи мира реального, и зачастую не замечая неромантичности и грубости этого мира и его несоответствия миру воображаемому. Для Вилки в сущности оба мира были одно.

Проявлялась Вилкина симпатия, как правило, всегда одинаково. И, за редким исключением, которое являла пока лишь одна Танечка, к людям, лично к Вилке не имеющим никакого отношения и с ним не знакомым. В преобладающем большинстве это были актеры и актрисы, увиденные им в кино или по телевизору, поразившие чем-то неуловимым Вилкино воображение, писатели, заинтересовавшие своими книгами или показанные все по тому же «ящику», один космонавт и даже один симпатичный, моложавый государственный деятель, из тех, что имеют постоянную прописку на трибуне Мавзолея. И с Вилкой каждый раз происходила одна и та же вещь: впечатлившись увиденным, прочитанным и услышанным, он хотел лицезреть своих кумиров как можно дольше и чаще, а для этого соответственно всем сердцем желал им творческих успехов, позволяющих пребывать в центре внимания широкой публики. И каждый раз, охваченный всецело этим желанием, Вилка уносился в желто-бело-розовом вихре в иные, невыразимые пространства, прекрасные и стремительные, и оставляющие внутри его существа блаженную и благую опустошенность. Ничего необычного в возникающих в нем вихрях Вилка не подозревал, полагая, что и все люди на свете испытывают такие же точно полеты, но не говорят о них в силу скромности и интимности ощущения.

После Вилкиного возвращения из разноцветной реальности вихря, люди эти словно бы поселялись рядом в его фантастическом мире, становились близкими, добрыми друзьями, кто временно, а кто и надолго, в зависимости от того, как скоро Вилка забывал о них, проникнувшись какими-либо другими симпатиями. В действительности же происходило иное. Добрые, но только начинающие карьеру, его друзья вдруг стремительно и внезапно становились знаменитостями, обласканными и обсыпанными благами, радуя Вилку собственной физиономией на экране. Писатели, особенно фантасты, получали карт-бланш, и их книг было уж и не достать. Те же друзья, кто был известен и прославлен еще до Вилки, обретали новые, неслыханные воз-

можности, премии и государственные награды. А любимец-космонавт, получивший травму в орбитальном полете, несовместимую с профессией, победоносно и непонятно для врачей преодолевал болячку и тут же отправлялся в следующий полет, несмотря на очередь пышущих здоровьем и ждущих своей очереди дублеров.

Конечно, Вилка, пусть еще далекий от умственной зрелости, был все же не такой дурак, чтобы не замечать множество стопроцентных совпадений. И склонность к анализу присутствовала в нем от природы. Но, будучи юным ленинцем и пионером, твердо зная, что бога нет, а ведьмы, колдуны и оборотни живут лишь в сказках для самых маленьких, Вилка быстро нашел для себя объяснение. Все выходило донельзя просто. Настолько просто, что Вилке позавидовал бы и сам Уильям Оккам.

Он, Вилка, вовсе не загадочный космический мутант, почему именно мутант он не пытался себе объяснить, а всего лишь человек, тонко чувствующий вполне земное прекрасное и талантливое. Такая у него прирожденная способность. Как, например, у Зули Матвеева – способность к шахматным битвам. В десять лет уже первый взрослый разряд. Или у соседского мальчика Давида – к игре на пианино. Вилке к музыкальному деревянному гробу и подойти-то страшно, не то, чтобы пытаться на нем играть! Зато он умеет чувствовать чужие таланты. И может даже, когда совсем-совсем вырастет, будет вовсе не математиком, а знаменитым критиком и журналистом.

Правда, иногда случалось, что мама, включив вечером одну из телевизионных программ, с негодованием ворчала: «Боже, ну и бездарь! И чего его (или ее) все время крутят, будто показывать больше некого! Видно, где-то волосатая лапа имеется». Речь шла именно об очередном Вилкином любимце. Но Вилку это не обескураживало. Во-первых, мама – это просто мама, а не знаток и профессиональный критик, а во-вторых, у нее нет Вилкиных выдающихся способностей, поэтому она, конечно же, может и должна ошибаться. Но о своих выводах и недюжинных талантах Вилка маме не говорил. Не хотел расстраивать. И продолжал населять свой мир «друзьями».

Но, справедливости ради, надо заметить, что переживания, испытываемые Вилкой по отношению к «друзьям» и даже к «подругам», несмотря на всю экранную красоту последних, были очень далеки от ранней, сексуальной чувственности. Они были даже не просто далеки, а не имели с ней решительно ничего общего. Красавицы не снились по ночам, в обличьях и ситуациях, волнующих пока еще слабо насыщенную гормонами кровь, и, тем более, не снились красавцы. Правда, из-за строгого замалчивания в идущем к коммунизму обществе некоторых противоестественных грехов, Вилке и в голову не приходило, что красавцы могут сниться подобным образом. Все это были друзья, а стало быть, и отношение к ним должно было быть окрашено исключительно в благородные тона. Можно подражать и даже восхищаться, можно слушать, смотреть и сопереживать. Но при чем же здесь, спрашивается, любовь и близкие к ней фантазии? Вилка не находил ни малейшего сходства. Тем более что предмет для вгоняющих в краску мечтаний Вилка избрал себе уже давно. Его сердце, равно как и все иные части тела, раз и навсегда, безраздельно принадлежали Анечке Булавиновой.

В их с Анечкой общении со времени злополучной елки произошел фундаментальный переворот. Только Вилка не знал до конца, так ли хороша случившаяся перемена, и не лучше ли было оставить все, как есть. Каким-то загадочным образом Аня Булавинова узнала, что раздавленные фломастеры предназначались Вилкой ее собственной персоне. Вилка подозревал в излишней болтливости рассеянного Зулю Матвеева, которому под строжайшим секретом после каникул поведал истину и пожаловался на подлеца Борьку. Очень уж хотелось с кем-нибудь, да поделиться. Поделился! А Зуля, вечно отиравшийся возле девчонок, разболтал доверенную тайну.

И Анечка, добрая душа, сопоставив фломастеры и обморок, прониклась к Вилке сочувствием. Вилка же, по глупой самоуверенности счел проявление сострадания девочки к себе

началом иного, многообещающего отношения и с замиранием сердца ждал дальнейшего развития событий. Ждал честно, целых два года, пока не стал подозревать, что дело нечисто. Анечка опекала его. Дружила, ходила в гости и приглашала к себе. Но чем дальше, тем больше Вилка невольно превращался в привычную, окружающую Анечку среду, вроде ее домашнего сибирского кота Модеста, только под номером «два». Он также требовал определенного внимания и ухода. И чувства, которые испытывала к нему эта не по-детски красивая девочка, имели больше общего с возвышенным долгом, вменявшимся в обязанность Маленького Принца по отношению к тем, кого он приручил, чем с влюбленностью. Вилка переживал, но и не уставал надеяться. Однако полную и печальную ясность внесли лишь последующие трагические события, случившиеся весной с «инопланетянином». Так про себя Вилка нейтрально именвал залегшего во временную спячку гада Аделаидова.

## Уровень 4. Смерть пионера

– Не забудь, завтра в два часа! Ну, да я тебе еще вечером позвоню, – пообещала Анечка, прощаясь с Вилкой в метро. Теперь, когда Булавиновым наконец-то провели телефон, Анечка названивала кому попало и по любому, самому ничтожному поводу.

– Не забуду. Но ты все равно позвони, – поддержал Вилка телефонный Анечкин энтузиазм. – Только знаешь, зря ты все же Борьку пригласила. От него никакой пользы, а вреда на полведра. Все испортит и дорого не возьмет. Вот!

– Вилка! Ну, сколько можно? Я же объясняла сто, нет, тысячу и сто раз уже, что Борька сам напросился. Что же мне было делать?

– Гнать в шею, – угрюмо, но твердо ответил Вилка.

– Гнать в шею нехорошо. И, может, Борька давным-давно исправился. И теперь хочет честно дружить. А вот мы его сейчас в шею, а он обидится и станет совсем злым! Вот! – Это нелепое словечко «вот» как-то незаметно прилепилось и вошло у них в обиход. Вроде пароля и тайной знаковой игры.

– Уж куда злее. Ага! Исправился он! Чего ж тогда с ним никто дружить не хочет, бояться только. Даже толстый Фаня. За одной партой с Борькой сидит, дрожит, как осиновый лист каждый раз, когда Борька на него смотрит. А ведь Фаня с кем угодно дружить согласен, лишь бы его «жиртрестом» и «вонючкой» не обзывали. Вот!

– Знаешь, между прочим, с тобой он тоже не дружит. Хотя ты-то его не обзываешь. Вот!

– Это потому, что я не хочу. Чего с ним дружить? Кроме футбола ни о чем же не говорит! А я футбол не люблю. Фаня, он же глупый, как африканский баобаб.

– Почему как баобаб? – не поняла Анечка.

– Песня такая. У Высоцкого, – пояснил Вилка. – А вообще день рождения твой. Кого захочешь, того и позовешь. Вот!

– Да говорю же тебе, Борька сам напросился! Очень он мне нужен! – Анечка фыркнула сквозь надутые губки. Потом, что-то вспомнив, строго посмотрела на Вилку:

– Ты, главное, подарок по дороге не проворонь. А то опять заболеешь. Горе мое.

– Не провороню. Он небьющийся и не рассыпчатый, – успокоил он девочку. – Ну, ладно. До завтра, что ли?

– Ага. До завтра. Но я еще позвоню, – уже на ходу крикнула Анечка.

– Позвони, – вздохнул Вилка ей вслед.

Подарок Вилка запаковал еще с вечера. В шуршащую, прозрачную пленку от бог весть какого цветочного букета, заботливо сохраненную и разглаженную мамой. А потом еще в один слой гофрированной светло-зеленой бумаги для школьных поделок. Подарок действительно был небьющийся и рассыпаться не мог – красивая, заграничная рамка для фотографии. Достаточно большая, пластиковая штука, разукрашенная по периметру карамельными цветными узорами и с замечательной ракушкой, словно бы вплавленной в нижний левый угол. Само собой, появившаяся в доме Мошкиных благодаря все той же Танечке. Барсуков настроился было разворчать по поводу бессмысленного и бестолкового разбазаривания ценного движимого имущества, но, тут же вспомнив недавнюю обиду, умолк и только демонстративно хмыкал и поджимал обиженно губы. Вилку это не могло не забавлять.

Причина для обиды у Викентия Родионовича, однако, имелась и, на его собственный взгляд, весьма и весьма значительная. А дело было в том, что, не надеясь более на жену в устройстве грядущего семейного благополучия, Викентий Родионович решился на поступок. Супруги и в нынешнем марте получили приглашение в Танечкин дом на празднование Танечкиного же дня рождения, поэтому в парадном виде, аккурат двадцать пятого числа, явились на торжество. Где отчим, хватив в мужской компании коньячку для придания себе необходимой

самоуверенности, отважился обратиться к хозяину дома с просьбой. О теплом месте и подходящих п-е-р-с-п-е-к-т-и-в-а-х. А милейший Геннадий Петрович, тоже хвативший коньячку и куда больше отчимового, и много всякого наслышавшийся о Барсукове от жены, пребывал в веселом настроении, отчего ответил откровенно:

– Вот что, Кеша, ты не обижайся, но, как мужик, ты ж – ходячее говно! Ну и ответь: зачем мне хлопотать, чтоб хорошим людям кусок говна сосватать? То-то мне спасибо скажут! А что за пацана переживаешь, так ты не переживай! Пацан хороший, пацана я не брошу. И Танька в нем души не чает. Вот ему я помогу. Когда подрастет маленько. Ты уж не обессуди!

После этого дня рождения отчим ходил, как кипятком ошпаренный. Пенял, конечно, и жене. Дескать, не он ли предупреждал, что от его ходатайства толку не будет. Оскорбили только ни за что, да еще на людях. Им-то что, им все можно, кто такой Барсуков, и кто такой сын самого Вербицкого! А сын-то хам вокзальный. А Люда – курица, все из-за ее глупого упрямства. Мама, конечно, ответила, и они с отчимом разругались. Из этой ругани Вилка и уяснил себе, что же случилось в гостях у Танечки. Барсуков же, накричавшись, перестал с кем-либо в доме разговаривать, решив наказать семейство гордым молчанием. И стойко молчал вот уже два дня. А Вилка отметил про себя тот факт, что, ссорясь с женой, Викентий Родионович против обыкновения ни словом не задел самого Вилку. Что случалось частенько, когда отчим бывал чем-либо недоволен. Не сказал традиционные: «твой неблагодарный отпрыск» и «твой совершенно безответственный сын». И Вилке казалось, что он догадывается почему. Из-за Геннадия Петровича. Вот поэтому. Раз уж младший Вербицкий пообещал прилюдно свое покровительство младшему Мошкину, то лучше с последним не ссориться. Впрочем, Вилку такой расклад как нельзя более устраивал. По крайней мере, теперь не придется выслушивать отчимовы глупости. А с мамой вместе они вообще сила. Против любых Барсуковых. Между собой-то они разговаривают, и очень даже. А отчим ходит один, как сын. И добавки к супу попросить не может. Потому как принцип. Так кто же в конечном счете, спрашивается, сам дурак?

Подарок и модный, темно синий, вельветовый костюмчик лежали, приготовленные, на стуле к завтрашнему дню. Сам Вилка лежал рядом в постели. Спать ему не хотелось. Хотелось думать о том, какая замечательная и красивая девчонка Аня Булавинова, и что только у такой замечательной девчонки день рождения может быть первого апреля и ни в какой другой день. Это очень хорошо, что Анечке достался самый веселый день в году. Вот Вилке, например, достался день куда как обычный, и никакого праздника на него отродясь не приходилось. Подумаешь, тридцать первое октября. Да еще мама рассказывала, что в действительности Вилка родился ночью, в самую полночь и даже немного за нее. Но, записали все-таки на тридцать первое. Может, оттого что он начал рождаться именно тридцать первого, а пару минут туда-сюда значения не имели. И медсестричка так и отметила в карте: тридцать первое октября, а для порядка – 23 часа 55 минут. Впрочем, и первое ноября не многим лучше. Вот если бы седьмое, тогда Вилка мог бы хвастаться, что родился в наиглавнейший советский праздник. Но не повезло. Всегда так.

В метро Вилка ехал, крепко прижав к себе Анечкин подарок, и не спускал с него глаз. Что было на этот раз совершенно лишней предосторожностью, потому как в вагоне по случаю воскресенья половина мест пустовала, а собственно Вилка и вовсе оказался один на угловом, жестком сидении. Ехать ему выходило не близко, за Измайловский комплекс, на 16-ю Парковую. Но даже после пересадки на Площади Революции народу не прибавилось, а к концу в вагоне остался только сам Вилка и еще две высокомерные старушки в нелепых, измятых шляпках. На станции у выхода Вилке еще предстояло приобрести букетик цветов для именинницы, для чего ему был выдан мамой бумажный рубль. Но у Вилки имелось впридачу копеек шестьдесят собственных, сэкономленных финансов, и он полагал купить не только пучок нарциссов, но и непременно к нему ветку мимозы.

На Первомайской станции все вышло даже лучше. Добрая толстая старушка не просто продала две, пусть не самые пышные веточки мимозы (это чтобы не вышло четное число), а, то ли от скуки, что не было других покупателей, то ли Вилка и в самом деле ей понравился, но веселая бабулька завернула Вилкин букетик в кусок шелестящей, белой бумаги и обвязала снизу обрывком прозрачного шпагата. Получилось мило.

До Анечкиного дома от метро ходил автобус, но Вилка решил пробежаться пешком. Чтобы не помять букет и чтобы не париться понапрасну четверть часа на остановке. По случаю воскресенья автобусы ходили не так, чтобы очень. А день такой чудный, и солнце уже почти совсем теплое. Вилка еще в метро стянул с головы вязанную, лыжную шапочку и сунул ее карман, а теперь и не думал надеть. Впрочем, простуда ему не грозила. Что-что, здоровье у Вилки, несмотря на выдающуюся худобу, было отменным. И захочешь, так нарочно не простудишься, даже если полшколы гриппует и чихает. Что такое не везет и как с этим бороться! Оттого можно было бежать и без шапки. А бегал Вилка очень быстро, даром, что ноги имел до смешного длинные.

К Анечкиному дому длинные ноги донесли быстро. И Вилку, и букет, и подарок. А до двух дня было еще порядком далеко, не меньше часа. Но Вилка знал, что его не прогонят и не рассердятся, и потому смело явился раньше назначенного срока. Во-первых, хотелось поздравить Анечку прежде всех и наедине, чтоб та как следует рассмотрела подарок, а во-вторых, наверняка, его попросят помочь. Помогать Булавиновым накрывать для гостей стол, или просто так чем-нибудь, было настоящим удовольствием. Весело, шумно и душевно. Будто Вилка свой в доме человек, и родители Анечки не видят никакого различия между ним и собственной дочкой. А папа Булавинов все время травит байки и разыгрывает то Вилку, то маму Булавинову, то Анечкину бабушку, – не то, что их Барсуков. И мама Булавинова, Юлия Карповна, все время хохочет, громко, до слез, и даже интеллигентная бабушка, и никто ни на что не обижается.

Но веселье весельем, а Вилка уже отдавал себе отчет, что Анечкина семья другая не единственно из-за Барсукова. Что все люди равны – это только для порядку говорится в умных книжках, на самом же деле, убедился Вилка, все совсем не так.

Анечкина семья была бедной. Не в сравнении с Татьяной Николаевной Вербицкой или с академиком Аделаидовым, но даже с Мошкиными. Даже с Вилкиной бабушкой, жившей на пенсию, и не желавшей зависеть от дочери, оттого подрабатывавшей на дому частными уроками русского языка и литературы, иначе говоря, обучая искусству написания экзаменационных сочинений. Булавиновы же были бедными по-настоящему, или, как модно стало выражаться, были бедными по определению. И дело заключалось даже не в том, что Булавиновы жили вчетвером, в двух смежных комнатах, сорок два метра, на пятом этаже хрущобы, без лифта. Мало ли кто как живет. Да и кого в Москве удивишь квартирным вопросом? В проходной комнате Аня и бабушка, в задней – родители, а уроки вполне можно делать на кухне. Конечно, не Версаль, но многие и похуже живут, например, в коммуналках.

Но в семье у Анечки почти совсем не было денег, или очень мало, по крайней мере, у Вилки определенно сложилось такое впечатление. Он даже точно это знал. Да и откуда бы им взяться? Веселый и милый Анечкин папа – ядерный физик, инвалид с ограниченной трудоспособностью, схвативший дозу где-то под Арзамасом еще в далекой молодости. И по молодости же, по глупости разругавшийся с серьезными, начальственными людьми по поводу техники безопасности и небрежения к человеческому фактору. Булавинова тут же и отправили лечиться домой в Москву с инвалидностью и волчьим билетом, и заниматься своей физикой он более нигде серьезно не мог. С трудом нашел место преподавателя в вечерней школе рабочей молодежи, малопочтенное и плохо оплачиваемое, да еще плюс мизерная пенсия. Мама Анечки, Юлия Карповна, была обычным участковым врачом из самой обычной районной поликлиники, иначе называемой «дворовой», с неслыханным окладом в сто десять рублей. Про бабушку

Абрамовну и говорить нечего. Ее пенсионного довольствия едва-едва хватало ей самой. Да и какая может быть пенсия у детского библиотекаря! Тут уж не захочешь, а придется просить у детей, даже если им самим концы с концами никак не свести. Вдобавок на лекарства сыну, Анечкиному папе, нужны деньги, и не раз и не два, но постоянно. А лекарства от его болезни известно какие, поди их достань! А коли достанешь, так еще сумеешь столько заплатить. Те же, что положены от государства, ими и кошку не вылечишь от поноса.

Только в семье Булавиновых никто не унывал. Ни мама, ни бабушка, ни Анечка. И, наверное, даже больной папа. Или, по крайней мере, очень мужественно делал вид, что не унывает, а, напротив, очень весел. Хотя, вполне возможно, что и не делал вид. Ну уж Юлия Карповна, тут и к гадалке не ходи, ни за что и никогда не променяла бы своего «шута горохового» даже на самого наипервейшего заграничного миллионера. И Анечка тоже, и бабушка Абрамовна. И все они были семья, одно взаправдашнее целое, которое разделить невозможно и нельзя, Вилка это видел, и любой бы увидел за версту.

Наверное, именно поэтому сама Анечка никогда не чувствовала себя ущербной или несчастливой по отношению к школьным товаркам и подругам. Хотя экипирована она была не то, чтобы плохо, а смело можно сказать, что хуже всех, и никаких таких фирменных и модных штучек у нее отродясь не водилось. Но в классе ее любили. Да и не только в классе. И училась она почти наравне с самыми умными отличниками, по крайней мере, куда лучше Вилки. Дружить с Анечкой хотели многие, а повезло именно Мошкину. Зуле Матвееву, вот, не повезло. А ведь он самый близкий Вилкин приятель, и все время возле Анечки крутится. Аделаидову не повезло тоже, и хорошо, что не повезло. Не хватало еще, чтобы «инопланетянин» оторвал себе такую подружку! Ему бы Ленку Торышеву, кривляку и задаваку, да и то жирно будет. Ведь Ленка, если разобраться, просто дура, и такого наказания вовсе не заслуживает.

Так думал Вилка про себя, а сам уже звонил в Анечкину дверь. И дверь почти тотчас распахнулась, на порог выскочила Анечка собственной персоной, вместо «здрасьте» закричала куда-то вглубь квартиры:

– Па-ап, это Виля пришел! – Анечка потащила его за рукав. – Здорово, что ты так рано! Нам стол из кухни нести нужно, а папе одному тяжело! А бабушка у плиты! А мама – за хлебом!.. Ух-ты, цветы! Мне?.. Давай сюда, а то помнешь!

Через минуту Вилка уже тащил из кухни потрепанную, перечевого цвета обеденную «раскладушку», вместе с папой Булавиновым, который советовал Вилке глядеть в оба, и не перепутать, где ножки от стола, а где его собственные длиннющие и худющие конечности. Одним словом, у Булавиновых происходил всегдашний развеселый балаган, участвовать в котором приглашались все желающие, независимо от возраста и принадлежности к этой жизнерадостной семье.

Стол благополучно водворили в проходной комнате, для вящей устойчивости подложив под шаткие ножки куски плотного картона. Анечка на нем тут же и распотрошила Вилкин подарок.

– Ух, какая красотища! И здоровенная! Па-ап, у нас есть твоя большая фотография? – Анечке захотелось найти немедленное применение пластиковому чудовищу.

– А то! Правда, я берег ее себе на памятник, но уж так и быть, пожертвую родной дочери, – папа Булавинов сделал широкий жест рукой.

– На какой памятник? – не поняла Анечка.

– Как это, на какой? Вот залечат меня врачи окончательно...

– Пап, ну перестань! – Анечка зашлась хохотом – Ну я же серьезно!

Вилка засмеялся тоже. К шуткам папы Булавинова он давно привык. Хотя поначалу ему бывало жутко и даже сыпало по телу холодными пупырышками. Он тогда совсем не мог взять в толк, как можно столь страшно и одновременно легкомысленно шутить о таких мрачных и



грустных вещах. И однажды напрямую спросил об этом Анечку. И Анечка ему ответила, ясно и немного не по-детски:

– Дурак ты! Думаешь, кому-то легче будет, если ходить серьезными и хмурыми? Мы все знаем, что папа очень болен и может умереть. И я тоже знаю и бабушка. Только глупо делать вид, что никакой такой смерти на свете нет, и бояться ее тоже глупо. А смеяться очень даже можно. Папа говорит, это нужно, потому что тогда она не поймет, в чем дело, и вдруг, долго не придет. Вот!

– Но на самом деле, вам же невесело? Ведь, правда? – не поверил своим ушам Вилка.

– Почему невесело? Весело. Смеяться всегда весело. Грустно будет, когда папа и вправду от нас уйдет. Да это же не навсегда!

– Как так? – не понял тогда Вилка.

– Как, как? Так! Ты думаешь, что помер ты и все? Нет, на самом деле... – и Анечка поведала Вилке какую-то очень длинную и путанную теорию, из коей Вилка запомнил только слова: «Сократ», «идеи Платона» и «сверхчувственное». Без сомнения, Анечка была куда умнее его. Хотя Вилка подозревал: девочка едва ли понимала и половину из того, что так убедительно ему пересказывала.

– Ты что же, в бога веришь? – на всякий случай спросил Вилка. Нелепый, мифический боженька из пионерских страшилок мало сочетался в его сознании с великолепной уверенностью в том, что земной шар был нарочно заселен космической сверхцивилизацией в виду глобального научного эксперимента.

– И верю! – запальчиво ответила тогда Аня Булавинова – И папа верит. И все у них в этом дурацком Арзамасе верили. Мне папа рассказывал. А там, между прочим, кругом одни ученые и инженеры. Они-то знают, что к чему.

После того разговора Вилка в невидимого бога, конечно, не уверовал, но шутки папы Булавинова коробить его перестали. А со временем он вдруг обнаружил, что хохочет над ними вместе с остальным Анечкиным семейством. Смеяться над смертью оказалось совсем не страшно. Тем более, когда ты делаешь это не один.

После доставки стола к месту назначения Вилка еще носил тарелки и миски с хлебом и салатом, Анечка тем временем раскладывала приборы. Угощение, хоть и небогатое, выглядело обильным и аппетитным. Оливье с преобладающей в нем картошкой, тертая с майонезом свекла, жаренная в самодельных сухарях холодная рыба хек. И морс из яблочного варенья. Наверняка, будет и праздничный торт, Вилка мельком разглядел коробку в приоткрытом холодильнике.

Пришли и гости. Ленка с Олесей, а за ними и Зуля с Ромкой Ремезовым, классным старостой. Потом еще и еще. В итоге набралось аж десять человек. Сидели на стульях, на Анечкином раскладном диванчике и на табуретках. Только на кровати бабушки Абрамовны, застеленной белым, вышитым крестиком покрывалом, не сидел никто. Впрочем, кровать на всякий случай задвинули подальше в угол к старенькому телевизору «Рекорд». Последним явился с опозданием «инопланетянин». И Вилка уже по одному его приходу понял, что неприятности начались.

Аделаидов прибыл на папиной «Волге», и водитель Сережа довел «инопланетянина» до самых дверей. Чем уж Борька застрашал или подкупил Сережу, который терпеть не мог нахального барчука, неизвестно, однако, он все же довел Борьку до Анечкиной квартиры... И передал у порога Борьке букет из палевого цвета роз, который, видимо, покорно нес за ним наверх по лестнице. Розовых бутонов было целых пять, в умопомрачительной упаковке и с веточками пушистого папоротника посередине. Вилка мог себе представить, сколько «тянул» такой букет. По полтора рубля за штуку, никак не меньше, да еще бумага и «ботва». Его собственная мимозно-нарциссная композиция выглядела просто убогим мусором по сравнению с такой роскошью. Утешило Вилку лишь то обстоятельство, что великолепный Борькин букет Анеч-

кина мама впихнула в обычную трехлитровую банку из-под огурцов, а Вилкино скромное подношение стояло в самой лучшей Булавиновской вазе, разукрашенной видами Пятигорска. Да еще папа Булавинов с шутовской почтительностью при всех раскланялся с Аделаидовским розарием. Вилка нарочито громко рассмеялся, а Аделаидов злобно сжал губы, так что змеиный рот его превратился на мгновение в судорожную, мертвенно бледную полоску. Вилке это обстоятельство не понравилось совсем. Однако, напротив, очень понравилось то, что подарок «инопланетянина» Аня открывать не стала, несмотря на блестящую заманчивость коробки, а просто отнесла в соседнюю комнату.

Пока все ели, за столом ничего особенного не происходило. Обычный день рождения, хоть и первого апреля. Юлия Карповна уже несла с кухни бисквитный в розочках торт, украшенный двенадцатью коротенькими свечками. Торт приговорили быстро, и, поскольку время было ранее, всего лишь четыре часа пополудни, а погода стояла сухая и солнечная, вся сытая и довольная гоп-компания высыпала на двор. Побегать и пошуметь. Тут-то гадость, терпеливо ожидавшая своего часа, и позволила себе случиться.

Для начала, чтобы разогреться, стали играть в догонялки возле гаражей. Минут пятнадцать играли мирно, пока Вилка не «засалил» Аделаидова. Что, кстати, было далеко не просто: «инопланетянин» славился скоростью и увертливостью, а Вилка – неуклюжестью и медлительностью реакции. Но выручили длинные руки. «Инопланетянин», однако, никакого недовольства не выразил, а тут же погнался за Аней. И только за ней одной, словно позабыв об остальных играющих. Анечка очень скоро дала себя поймать, чтоб Борька отстал и чтоб другие тоже смогли побегать. Но Борька, догнав и схватив девочку за руку, не отстал. Крепко сжав Анечкино запястье, он громко сказал, чтоб услышали все:

– Не отпущу, пока не поцелуешь. Три раза, – сказал и вытянул губы дудочкой.

Возмущенная Анечка рывком выдернула руку, отступила на шаг. Вилка и Ромка Ремезов тут же двинулись на Аделаидова, за их спинами остальные гости шумно стали высказывать пожелания:

– Врежьте ему раза!.. Вилка, леща навесь на ухо! – это Зуля и Мишка Кардиганов.

– Вот же козел! Да Анька скорее дохлую кошку поцелует, чем тебя! – это негодовали Ленка и Олеся.

Но навешать «инопланетянину», однако, ни Ромка, ни Вилка не успели. Аделаидов вновь открыл поганный рот:

– Анька, что же, тебе и собственного папашу не жалко? Я думал, ты его любишь! – вдруг ни к селу, ни к городу заявил он.

– При чем тут папа? – лицо у Анечки из гневного стало внезапно растерянным и испуганным. Вилка и Ромка Ремезов тоже остановили свое стремительное движение к подлецу Аделаидову.

– А при том. Твоему предку может счастье скоро привалит необыкновенное. Мой папашка обещался. К себе в институт его возьмет. Там и денежки хорошие башляют, и лечить будут. А все почему? Потому что я попросил. Только рассказать не успел. Я такой! Что у папашки ни попрошу, ни в чем отказа нет. Побаивается он меня, из-за мачехи, – голос у Борьки сделался глубоким и зазвучал гордо. – Так что, теперь поцелуешь? А то обижусь и обратно отговорю, а?

Вилка чувствовал, что впервые в жизни готов убить. Тотчас и своими руками. За Анечку, за папу Булавинова, за свою любовь, которую сейчас обдали помоями. Он сжал кулаки и шагнул к Борьке. И в ужасе остановился. Анечка смотрела на Аделаидова странным взглядом. В нем одновременно читались радость, недоверие, трепетная надежда и отвращение. Она шагнула к Аделаидову. Все вокруг молчали.

– Это взаправду? Ну, то, что ты сказал? – дрожащим голосом спросила Анечка, чуть ли не просительно заглядывая Борьке в глаза.

– Правда, правда, не сомневайся. Очень мне надо врать за пару поцелуйчиков. Вот когда твой папашка все получит, тогда ты меня с ног до головы обцелуешь! – Аделаидов наглед прямо на глазах. – И ездить со мной на машине будешь, и по школе ходить, и в кино! Будешь?

У Анечки сделался такой вид, что она вот-вот согласится, как только до конца уверится, что Борька не лжет. А Борька скорее всего не врал. Что ему стоило уговорить своего академика и получить затем на веки вечные благодарную, на все согласную рабыню! За спиной у Вилки раздался шепот, потом другой: «А вдруг он поможет!», «А вдруг правда!». «Анька, дура, соглашайся, а то передумает!» – это крикнула писклявая Кирка Горбунова, трусиха и отличница. Анечка еще раздумывала.

– Давай, давай, лиха беда начало! – подбодрил ее Аделаидов.

И тут случилось. Вилка, конечно, не выдержал. Кинулся на «инопланетянина» с кулаками. Они покатались по земле, нещадно мутузя друг друга и крича самые грязные уличные ругательства, какие знали. Ребята их не разнимали, только смотрели. Никто не решался прийти на помощь той или другой сражающейся стороне. И Вилка победил, заборол злодея Аделаидова. Расквасил «инопланетянину» в кровь нос и губы, и теперь сидел на нем верхом и макал физиономией в грязную от недавно стаявшего снега клумбу и кричал: «Будешь еще, гад, будешь?». Пока Зуля и Ромка его не оттащили.

Аделаидов немедленно вскочил, утер рукой лицо, развезя во все стороны грязь и кровь. И завизжал жутко, отплевываясь:

– Ну, все, сволочь! Все! Хотел как лучше, но теперь все! Своего дружка благодари, нищенка сраная! Сдохнет твой никчемный папашка в больничном коридоре, на помойке, скажешь тогда своему придурку спасибо! – Борька еще кричал какие-то совсем уже грязные слова, но Вилим Александрович Мошкин их уже не слышал.

В голове у Вилки взорвалось. Страшная ненависть захлестывала его однажды, но она не имела ничего общего с тем ужасающим ураганным чувством, котороехватило его вдруг целиком. И опять перед ним была стена и боль, но ни то, ни другое не могло ныне его остановить. Стена прогибалась и делалась все тоньше под ударами вихрей его чувств, боль становилась все невыносимей, но Вилке было плевать. С мысленным криком: «Чтоб тебе сдохнуть, тварь, сейчас, немедленно, сдохнуть!» – Вилка головой вперед пробился сквозь стену. Боль сделалась непереносимой совершенно, а вместо стены перед ним в пустоте выл бешено закручивавшийся в воронку поток абсолютного, невообразимого в природе черного цвета. Вилка крикнул снова, то же самое свое пожелание. И едва оно отзвучало, как вихрь рассыпался в угольную пыль, и резкая, на грани шока боль пронзила голову от уха до уха. Вилка упал ничком.

Голова болела страшно, и встать он не мог. Видел только ноги убегающего в сторону дороги и кричащего что-то гнусное Аделаидова, и еще видел плачущее Анечкино лицо, склоненное над ним. Вилке сквозь рвущую муку подумалось, что Анечка, конечно, теперь до конца жизни возненавидит его и проклянет, но вместо этого услышал на пределе ускользающего сознания: «Спасибо! Спасибо, тебе, бедный ты мой Вилечка!» – и еще горький, протяжный всхлип.

Аделаидов, задыхаясь от злобы и унижения, тем временем уже добежал до дороги. Теперь ему надо было перебраться на другую ее сторону к телефону-автомату и позвонить отцу, чтоб прислал за ним машину и вообще. И Борька бросился через неширокое шоссе. Перед автобусом, так некстати затормозившем у остановки. Но Борька плевать хотел на правила движения. Отныне любые правила не для него, да и дорога совершенно пуста. Главное, быстрее к телефону, и он еще покажет и этому выродку Мошкину, и его подружке, и подружьиному папашке, где именно в этом году зимовали раки.

Он одним прыжком миновал морду рейсового автобуса, и побежал было дальше по размеченному асфальту, как вдруг из-за железной, пыхтящей туши общественного перевозчика вылетел тяжелый мотоцикл «Днепр». Молодой паренек, управлявший своим ревущим любим-

цем, вообще ни на что среагировать не успел. В долю секунды Аделаидов оказался висящим на передней фаре и лобовом стекле «Днепра», а мотоцикл стремительно заносило в сторону. Парнишка не сообразил отпустить газ, и справиться с управлением тоже не сумел. «Днепр» на полном ходу, вместе с распластанным на его передке Борькой, врезался в росшее у обочины дерево.

К тому времени, как примчалась скорая помощь, спасти, собственно говоря, было некого. У мотоциклиста оказалась сломанной шея, он умер мгновенно. Борька, раздавленный почти в кашу, с переломанными ногами и позвоночником, с разорванной печенью, прожил еще целую минуту.

## Уровень 5. Первая тень василиска

Когда Вилку внесли, втащили на руках в Анечкину квартиру, он все еще был очень плох. Не мог ни сесть, ни встать и говорить толком тоже ничего не мог. Голова болела страшно и тупо, глаза отказывались смотреть на окружающий мир. Вилку положили в дальнюю комнату на кровать, рядом с так и нераспечатанными подарками. Над ним хлопотали Юлия Карповна и бабушка Абрамовна. Вилке натирали виски вонючим яблочным уксусом, совали под нос напатырь. Юлия Карповна капала в рюмку валериановых капель, но Вилка был не в состоянии хоть что-то проглотить. Он не видел, не чувствовал, вообще не жил, полумертвый от боли. Только слышал. Но лучше бы и этого не было.

Где-то поблизости от него Анечка вздохнула, пополам со слезами, пересказывала папе Булавинову события, произошедшие во дворе. Чистую правду о драке, о приставах Аделаидова и произнесенных им гадостях. Только об обещании академика, данном им сыну, Анечка не сказала ничего. Может быть, не хотела расстраивать отца, а может, просто не поверила «инопланетянину». Никто из ребят, стоявших рядом, и слышавших Анечкин рассказ, тоже ничего не сказал об этом.

Однако, совсем, совсем другие слова пробились через Вилкину боль. Когда папа Булавинов спросил у дочери, что же, собственно, такое приключилось с Вилей. На последствия драки что-то непохоже. И тогда Анечка припомнила, что так уже было однажды и тоже из-за Борьки, и Виле стало плохо, видимо от нервов. А потом Вилка услышал главное:

– Пап, как же ты не понимаешь? Ведь все это с Вилей опять из-за меня. Мне его так жалко, ты не представляешь! Он, как больной котенок, которого никто не берет! Вот! – Анечка заплакала сильнее.

– Аня, девочка моя, ты очень ошибаешься. Очень сильно и очень опасно ошибаешься. Вилка не твой котенок. Хотя бы потому что, он человек. И ему может быть обидно, – папа Булавинов говорил совсем не строго, только печально и как-то отстраненно. – Доченька, ты причиняешь вред и ему, и себе, когда думаешь так. Поверь мне, я знаю.

– Папа, ну я же тебе говорю! Вилка, он же пропадет без меня. Он хороший и добрый, совсем как ты. О нем заботиться надо непременно.

– Но не как о котенке! Аня, пойми меня правильно.

– Я по-другому не умею! Он для меня – так, а не так! – всхлипнула Анечка. Как «так», она объяснять не стала или просто не нашла подходящих слов. Но все поняли ее и без них.

– Жаль. Жаль вас обоих, – ответил папа Булавинов, и тоже не стал объяснять, почему ему жаль.

А Вилка не желал уже никаких объяснений. Он слышал достаточно и даже более чем. Достаточно настолько, что теперь не мог понять, что же болит у него сильнее: сердце или голова. И то и другое причиняло одновременно невыносимые мучения. И все же он был уверен, что сердце его пострадало непоправимо, оттого, что головные страдания, как ни крути, пройдут, а в груди отныне будет больно всегда.

Скоро за Вилкой на такси примчалась мама, как ни странно, вдвоем с Барсуковым, который, видимо, счел происшествие с пасынком подходящим для примирения. Они и увезли Вилку домой. Вслед за ними разошлись и все оставшиеся гости. О несчастье, приключившемся с Борькой, семья Булавиновых узнала только уже часа полтора спустя. От любопытной, словоохотливой соседки. А поздно вечером сам академик позвонил в дверь скромной квартирки, съездившийся и робкий от несмываемого горя. И папа Булавинов поведал ему целую повесть, не заключавшую в себе ни единого слова правды. Ведь не мог же он произнести вслух перед этим, просительно заглядывавшим в глаза, раскатанным в блин человеком, отцом единственного своего уже мертвого сына, слова о том, что страшно погибший его покойный мальчик был

мерзостью и подонком, мучавшим людей для собственного удовольствия! Нет, папа Булавинов этого не мог. И так возникло мороженное, которое предполагалось купить на карманные деньги для всей компании, и радостный бег, скорее, скорее выполнить задуманное. И не успели остановиться, и не ждали беды, оттого никто из детей сразу не хватился. И на свет явился счастливый, щедрый и добрый паренек, так и не успевший добежать до «мороженого» киоска. Папа Булавинов знал, что его повесть останется в неприкосновенности до конца дней, что никто из ребят, узнав о Борькиной смерти, не внесет в нее ненужных дополнений и корректив. Знал, потому что научился отличать к этому времени своей жизни хороших людей от иных, даже если эти люди еще очень юны и малы. И болтушка Лена Торышева, подруга дочери, тоже не скажет лишнего, он был уверен. Разве что история в ее устах обрстет новыми, очень положительными и захватывающими сказочными подробностями.

Вилка о смерти инопланетянина узнал последним. Он тяжело и непростительно для самого себя долго болел после случая во дворе, и никто не решался донести до него печальные вести. Анечка навещала Вилку чуть ли не через день. Приходили Ромка и Лена и остальные свидетели и соучастники злополучных первоапрельских событий. Чаще всех заглядывал Зуля. Так часто, будто собрался поселиться в квартире Мошкиных. Но Вилкина мама была ему рада, ей казалось, что Зуля положительно влияет на лечение.

Хотя ничем особенным Вилку не лечили. Давали бром и почему-то глюконат кальция, а больше ничего. Врачи говорили, что подростковый период и все пройдет само.

О смерти Аделаидова ему никто не рассказывал. Видимо, опасались нового приступа болезни. Зуля, тот и вовсе говорил мало, а больше молча сидел на полу рядом с Вилкиной кроватью и также молча решал напечатанные в журналах шахматные задачи. Зачем он ходил к Мошкиным, будто взрослый на работу, с постоянством и достойным похвал прилежанием, Вилке было совершенно неясно.

О гибели «инопланетянина» Вилка узнал, только вернувшись в школу. В первый же день и в странной, нереальной редакции. Но опротестовывать версию одноклассников Вилка не стал. Ему было все равно, как умер Аделаидов, как подлец или как герой. Его мучили две другие вещи.

Первая непосредственно касалась Ани Булавиновой. Своих отношений с девочкой Вилка никак внешне не изменил, только перестал надеяться и хоть чего-то ждать. Но Анечка в отличие от него ничего и не ждала, и, оттого ничего и не заметила. А то, что пережил Вилка, касалось исключительно его одного. Свое разочарование и свою муку из-за пустых надежд Вилка не выразил вслух, а попросту отвел горестным новоселам приличный угол в самом себе и стал так жить. К тому же, никто не запрещал ему по-прежнему обожать Анечку. Это вообще невозможно было запретить. А, значит, Вилка остался при своих.

Другая вещь, не дававшая покоя, заключалась в самом факте внезапной Борькиной смерти. Логичное, рациональное Вилкино начало доказательно и твердо отгоняло прочь подозрения в непосредственной причастности его к гибели Аделаидова. Ссора и последовавшая за ней драка – это одно дело, а несчастный случай на проезжей части – совершенно другое. В момент аварии Вилка вообще валялся в отключке, потеряв сознание от боли. Единственное, в чем он мог бы себя винить, – мысленно обосновывал Вилка, – так только в том, что не подерись он с Борькой во дворе, тот не бросился бы бежать к дороге. Поэтому если он, Вилка, и считает себя причиной несчастья, то причиной случайной и невольной и оттого ненаказуемой столь жестокими угрызениями совести.

Так думал он днем. И дневная жизнь его протекала в относительном покое. Но ночь диктовала иные правила игры, не имевшие ничего общего с разумными дневными доказательствами, ибо законы ночи были иррациональны и пугающе потусторонни. В кошмарах ночных снов, пусть редких, но до ужаса одинаковых, присутствовал лишь один сюжет. Он, Вилим Мошкин, вознесенный, будто памятник Гагарину на алюминиевой стреле, с протянутой по-

ленински рукой, грозный и полуукутанный туманом, возвышается над крошечным и дрожащим в каплях дождя Борькой. И звучат слова, переходящие в крик: «Сдохни! Сдохни, поганый выродок!» – и тут же по непоправимому приказу его руки на Борьку мчится огромный, с дом, мотоцикл, и несчастный, маленький Аделаидов удирает со всех ног и не может удрать. Мотоциклетка, страшная и ревущая колесница, нагоняет его и тут же расплющивает, наматывает на гигантское колесо. А Вилка с протянутой рукой, будто Зевс Громовержец, радостно и жутко хохочет, но тут же понимает, что вовсе ему не весело, и тот, кто хохочет, уже совсем не он, а какой-то другой Вилка, на которого он смотрит со стороны, захлебываясь от накатившей волны ужаса. Тут Вилка обычно просыпался, в поту и с бешено колотящимся сердцем, садился в кровати и глубоко, старательно дышал. Иногда от этого приема ему становилось легче, и Вилка ложился и спал далее, иногда же мучился без сна до утра, перебирая в голове всю коллекцию спасительных, логичных доводов, чтобы унять собственные страхи.

Но, как бы то ни было, все же Вилка был современным ребенком, пионером и атеистом, и в мракобесие не верил. А, значит, не допускал существование сглаза, наведенной порчи и иной черной магии, и потому запрещал себе думать о том, что Борькина смерть имела некую сверхъестественную причину. Ну, в самом деле, была бы у Вилки такая власть над чужой жизнью, разве бы он не знал об этом? Или, к примеру, стал бы терпеть Борькины выходки столько времени? Взял бы и изгнал негодяя с глаз долой. Или выколдовал бы, чтоб Анечка в него безумно влюбилась. Да уж куда там! Он, Вилка, себе и «четверку» по русскому языку наворожить не в состоянии – часами мучается дома с правописанием. А кошмары, что ж! Все же Вилка ненавидел покойного «инопланетянина», и не раз сулил ему черта. Вот теперь Аделаидов взял и помер, а Вилка то жив-здоров, только мучают сны, и то нечасто. И по сравнению с Борькой, дела его очень даже хороши. Кошмарами страдать – не в гробу лежать. Так что, бог с ними, с кошмарами. Приснятся и забудутся.

Однажды, в конце мая и учебного года, Аня, таинственно приложив пальчик к губам, на большой перемене потащила Вилку в дальний конец школьного двора и там рассказала нелепую и «страшную» тайну. Оказывается, Борька не соврал. Оказывается, он действительно перед своей гибелью просил отца-академика за папу Булавинова. И вот, академик вспомнил о просьбе покойного сына. И приглашает папу Булавинова к себе. Не к себе, а к СЕБЕ. Непосредственно, в ученые секретари. С окладом и перспективой написания диссертации, а также плюс ведомственная поликлиника и заграничные командировки вместе с новым шефом.

– Здорово! Вот, здорово! – Вилка так громко завопил в ответ на доверенный ему секрет, что Анечке пришлось сердито одернуть его за рукав куртки.

– Не ори! Чему ты радуешься? Папа-то не согласился!

– Как это, не согласился? – опешил от неожиданности Вилка.

– Так. «Не согласился» значит отказался. Наотрез. Совсем. Понимаешь? – Анечка пристально и значительно посмотрела Вилке в лицо.

– Ой! А как же..? Не понимаю... Ведь папа твой болен, и он так хотел быть снова ученым? А как же..? – Вилка совсем обалдел от такого поворота событий.

– Как, как? Вот так. Заладил, как попугай. Он думает, что мой папа его сыночка чуть что не обожал и это обожание между ними было взаимным. Папа, бедный, сдуру тогда академику лапши навешал про Борьку, мол, он такой-сякой, прямо ангел небесный. Пожалел старика, а тот поверил, тем более Борька за нас просил. Теперь совсем у академика крыша съехала, хочет нас отблагодарить. В память о сыне. Дескать, Боренька так вашу семью любил, особенно Анечку. А Борька у нас до того дня сроду не был, и отца моего в глаза не видел. Не знаю, чего он там академику наплел. А тот старенький, говорит, детей у него уже никогда не будет, и с молодой женой чего-то там у него нелады. И вот он хочет, чтоб мы стали вроде его семьи. Представляешь, так прямо папе и сказал. Совсем с ума сошел, да?

– Вот бедняга! В смысле академик. Он же не знает ничего. Но папа-то твой зачем отказался? Все равно не понимаю, – упрямо повторил Вилка.

– Ты что, нарочно? Я думала ты умный, а ты прямо дурак какой-то. Вот! Это же нечестно. Если папа согласится, то ему придется старику врать, может, до конца жизни.

– Ну и что? Если от вранья всем хорошо будет, то, что ж такого? – не понял Вилка.

– Папе не будет хорошо. И академику не будет тоже. Папа говорит, он все равно рано или поздно поймет, что его обманывают, и станет страдать, а правду не узнает, – грустно сказала Анечка.

– И пусть. Главное, твоего отца вылечат, и у него появится настоящая работа. Хоть какая-то польза от Борьки будет, хоть он и другого желал, – Вилка сказал и сам испугался своим словам. Нехорошо они прозвучали, словно отголоски ночных видений. И Вилка пожалел о сказанном:

– Я не хотел. Прости.

– Да ничего. Я тоже так сначала подумала. А потом поняла: папа прав, нам это не нужно. Лгать за тарелку супа. Противно это, да?

– Наверно. Да. Мне бы было противно. Но как же вы теперь? – сочувственно спросил Вилка.

– Будем жить, как жили. Разве мы плохо жили? – у Анечки получилось неуверенно и робко.

– Замечательно жили. Всем бы так, – заверил ее Вилка. – Ну, ничего. Пусть твой папа еще совсем немного потерпит, а там мы вырастем. Мы же уже скоро вырастем. И мы его вылечим. И найдем ему работу... А знаешь что? Мы с тобой станем лучшими на свете физиками, или, уж ладно, на худой конец, математиками, и он нам будет помогать! Вот! Здорово я придумал?

– Ага! – Анечка тут же повеселела. – И еще купим ему машину. Он всегда мечтал водить автомобиль, маленький и быстрый.

– Мы ему купим. Только большой. «Волгу», как у академика. Или еще что-нибудь в этом роде, – постановил Вилка. Анечка с ним не спорила.

Папа Булавинов действительно отказался. Но в семье все равно произошли перемены. Внимание академика к опальному ученому словно сняло висевшее над семьей проклятье. Объявились неожиданно-негаданно какие-то старые друзья, еще по физтеху, о которых до сей поры не было ни слуху, ни духу. Поохали для порядку над бедственным положением Булавиновых, как будто до этого времени не имели о нем ни малейшего понятия. И предложили. Неплохое место в филиале ФИАНА, пока младшего научного сотрудника, но в перспективной, «закрытой» теме и с приличным жалованием. Перспективной теме, однако, требовалась моральная и материальная поддержка, чтоб не прикрыли до получения нужного результата и чтоб не обошли конкуренты. Понимая, что Булавинов никого и ни о чем просить не станет, взяли того к себе и тактично довели информацию о смелом поступке до академика. Старик Аделаидов, и без того огорченный и без притворства тронутый благородным отказом папы Булавинова, ради хорошего дела дал втравить себя в интригу. Но и намекнул, что без Булавинова старые его друзья и черствой корки от него не увидят. Так Анечкин папа нашел новую работу. И быстро пошел в гору. И не только благодаря тайному покровительству академика. Что-что, а голова у него на плечах была светлая, дай бог каждому.

До самого восьмого класса больше в Вилкиной жизни ничего примечательного не происходило. Вернее, происходило много чего, но то были обычные, ничем особенным не удивительные происшествя.

Как и раньше, с раз и навсегда определенным постоянством, являлась с жалобами на Геннадия Петровича добравшая к этому времени солидности и дородности Танечка. И, как и раньше, мама с Вилкой ей сочувствовали и утешали. Правда, загулы у Геннадия Петровича случались уже не столь искрометные и стремительные, а будто бы в дань уважения славному



боевому прошлому, и от младшего Вербицкого уже не пахло дешевыми духами, но только лишь дорогим коньяком. Танечка боролась теперь не против неведомых галантерейных продавщиц и путевых обходчиц, а против дружков-преферансистов, среди коих имелся и один известный милицейский генерал. Он-то, по Танечкиным словам и являлся главным заводилой посиделок и выездов «на охоту». А у Гены давление и лишний вес, и не в порядке печень. Словом, Танечка уже не переживала о том, вернется ли ее благоверный в родное гнездо, привыкла, что возвращался всегда. Боялась лишь инфарктов и сосудистых неприятностей, как бы не дошло дело до больницы. В общем, берегла личную собственность. Но по привычке плакала у подруги на плече. Не дай бог, что с Геночкой, и ее съедят, как пить дать. Отстранят от многих благ. Вербицкие-старшие уже в преклонных годах, надолго ли их хватит? А что потом? А она уж привыкла. Вилкина мама ей сочувствовала без злорадства. Понимала, что из грязи в князи выбиться нелегко, зато обратно упасть – это невыносимо и иногда смертельно. Но и утешала. Гена, он еще молодой и, хотя бы ради Катюшки, в которой души не чает, непременно возьмется за ум и станет следить за здоровьем. Вилка тоже усиленно поддакивал, видя, что Танечка ждет слов и от него. Геннадий же Петрович был ему симпатичен. А маленькую Катюшку, которая на будущий год уже собиралась в школу, он бы не отказался иметь в сестричках. Впрочем, примерно так он и относился к Танечиной дочери.

Барсуков, единственная оставшаяся досадная муха в его жизни, постепенно поутих и присмирел. Оттого, что собственными силами, понимай: подковерными кознями, добился, наконец, улучшения в своем положении. И что было для него особенно лестно, без всякой помощи Геннадия Петровича. Продвинулся по партийной линии в освобожденные секретари и очень гордился поездками в райком и неудобоваримыми долгими речами с трибуны. В общем, сделал нормальную карьеру пронырливого и не очень вредного глиста средней руки. Вот только бы он перестал маяться дурью и прекратил домашние репетиции своих ответственных, занудных выступлений. Прочитать по бумажке, великое ли дело? Так нет, ораторствовал перед Вилкой и мамой, усаженными им в ряд на диване, отрабатывал «нужные акценты» и паузы. Вилка, дабы сохранить с Викентием Родионовичем мирные отношения, терпел эту муку, важно кивал головой и таращил глаза. Чтобы не терять время попусту, повторял про себя таблицы логарифмов, которые на спор с Зулей взялся выучить наизусть, поставив на кон новенький заграничный калькулятор «CASIO» против Зулиных кварцевых часов «Электроника».

Как-то само собой так случилось, что после отбытия в мир иной «инопланетянина» у Вилки Мошкина и шахматиста Матвеева сложилось нечто вроде близкой дружбы. По крайней мере, отношения их уже нельзя было назвать просто приятельскими. Но имелись и странности. Никаких глубоких общих тем и занятий у них не обнаружилось, не возникали и страшные секреты, как водится часто между закадычными школьными друзьями. Они вообще не открывничали друг с другом. Но Зуля все так же приходил в дом к Мошкиным, по несколько раз на неделе, Вилка же к Матвеевым не ходил никогда. Не то, чтобы его не звали или не желали видеть. Нет, ему просто было неинтересно. Зуля приходил и сидел, иногда оставался на обед. Делал вместе с Вилкой уроки, а если день был выходной, всегда сопровождал Вилку в гости к Булавиновым, где тоже просто сидел, уткнувшись все в те же бесконечные шахматные задачи, и не вмешивался в их с Анечкой дела и разговоры. В доме Булавиновых к Зуле скоро привыкли и считали за своего. Только папа Булавинов временами смотрел на Зулю как-то странно и будто бы вопросительно, и еще, как однажды показалось Вилке, с некоторой тревогой. По крайней мере, на него, Вилку, Анин папа никогда ни разу так не посмотрел.

Однажды, не со зла, а просто любопытства ради, Вилка спросил приятеля, зачем он столь настойчиво таскается с ним в дом к Булавиновым. Ответ Зули его поразил:

– Да ни за чем. Так просто. Наблюдаю, – коротко ответил Матвеев.

– За кем наблюдаешь? – не понял его Вилка. В голову ему внезапно пришло, что Зуле так же, как и ему самому, может нравиться Анечка, почему бы и нет. – За Аней, что ли, следишь?

– Зачем за Аней? – непритворно удивился Матвеев. – За тобой, конечно.

– Я думал, за Аней, – только и нашелся, что сказать Вилка. Непонятный ответ Матвеева поразил его до глубины души. – Я подумал, она тебе нравится.

– Да, она ничего, – вяло подтвердил Зуля, но тут, видимо, сообразил, что Вилка имел в виду нечто совсем иное. – А, в этом смысле. Не беспокойся, не нравится. В этом смысле мне Ленка Торышева нравится, только от нее шума много.

Для Вилки это было неожиданной новостью. Зуля, конечно, вечно болтал на переменах с девчонками, и вообще околачивался вокруг них постоянно, они даже перестали его стесняться. Но чтобы он имел какой-нибудь к ним интерес, кроме легкомысленного трепы, Вилке даже в голову не приходило. А оказывается, ему нравится болтушка Торышева.

– Не волнуйся, я никому не скажу, – на всякий случай заверил он Зулю.

– Да говори, на здоровье. Она знает. А стало быть, и все знают. К тому же я ей тоже нравлюсь, она сама сказала. Только у меня сейчас нет времени на глупости. У меня первенство по шахматам, и вообще, в этом году экзамены.

Нет времени на глупости. А таскаться за Вилкой как тень без всякой нужды у него есть время. И все вместо того, чтобы проводить это время с приглянувшейся девочкой. К тому же он нравится своей Ленке, счастливцев. Чего про Вилку в этом отношении никак не скажешь. И Вилка пришел к выводу, что никогда ему не понять ни Зулю, ни его туманных речей, ни смысла его поступков.

Однажды, болтая с Анечкой по телефону, он поведал ей о странностях приятеля. Но Анечку они не впечатлили.

– Ну и что. Подумаешь! Может он имел в виду совсем другое. Наблюдает, в смысле следит за тобой, как бы чего не вышло. Он же твой друг все-таки, – объяснение Анечки было возможным, и оттого обидным.

– Нечего ему за мной следить. За ним бы самим кто последил. Растеряха несчастный. На прошлой неделе уже третью шапку посеял. Обормот.

– Не ругайся, Зуля хороший. Но у него в голове все очень сложно устроено. У нас с тобой, к примеру, просто и ясно, а у него сложно. Может, оттого что он совсем на своих шахматах свихнулся, – предположила Анечка.

– Уж это точно. Прямо Гарри Каспаров. Только, иногда мне кажется, что и шахматы ему по барабану, – сказал Вилка и сам поразился своему внутреннему предчувствию некоей неясной пока правдивости вывода.

– Очень может быть. В профессиональные шахматисты Зуля во всяком случае не собирается, – подтвердила его слова Анечка.

Сама Анечка за эти три года изменилась в главном лишь внешне. Стала уж совсем невозможно красивой, по крайней мере, для Вилки. Серые глаза ее, и без того огромные, теперь, казалось, занимали пол-лица, само же личико потеряло детскую пухлость и напоминало формой чуть вытянутое сердечко. Хорошо, прическа осталась по-привычному прежней, короткой и пышной. И ростом она сделалась немногим ниже Вилки, хотя им обоим предстояло еще расти, а в Вилке и так уже был полноценный метр восемьдесят.

В доме у Булавиновых тоже наблюдались явные перемены и улучшения. Папа Булавинов, несмотря на то, что по-прежнему был болен, переносил недуги теперь не столь тяжело и больничные брал редко и ненадолго. Поликлиника досталась ему пусть не из лучших ведомственных лечебниц, но все же неплохая. Там его лечили всерьез, а с лекарствами существенно подсоблял академик, на этот раз не пожелавший выслушать никаких возражений. И привозил швейцарские диковинки и французские витамины. Папе Булавинову пришлось смириться и принять, совсем обижать одинокого старика он не хотел.

А на столе в Анечкином семействе давно уж была не только почти одна голая картошка с тертой свеклой. Некий стабильный материальный достаток ощущался, прежде всего,

именно в ежедневном меню. Случались и деликатесы, которые изредка приносил из институтского буфета папа Булавинов, чтобы порадовать своих совсем не избалованных в еде близких. Бывали на обед и молочные, свежайшие сосиски, и дефицитная гречневая крупа, а в праздничные дни, когда буфет расщедривался на заказы, на стол подавался и кусок балыка, и финская колбаса салями. И ничего этого Булавиновы не припрятавали и не утаивали от гостей. Как в бедственные времена, сколько бы народу ни пришло к обеду, что имелось в доме, то делилось на всех. Будь то тощий суп из одних костей и кусок самодельного, из остатков, холодца, или, как ныне, голландский, в мелкую дырочку, сыр и благоухающая «полукопченая». Которую, кстати сказать, их Барсуков считал на кусочки, сам нарезал и сам выдавал, гостям же ни-ни, хотя тащил из буфетов во много раз поболее недобычливого папы Булавинова.

Перед Новым Годом Булавиновых и вовсе ожидал настоящий праздник. Папа Булавинов и Вилка приготовили сюрприз. По секрету от женщин. Купили в рассрочку, на премию, цветной телевизор. То есть, купил, конечно, папа Булавинов, и премия была его. Но и без Вилкиной помощи не обошлось. Вместе с Анечкиным папой Вилка ездил и выбирал агрегат, советовался со знающими людьми, отмечался после школы в очереди. Вилка же и грузил новенький «Рубин» в багажник нанятого за пять рублей левака. Папе Булавинову такую тяжесть было не поднять, а Вилка, несмотря на стойкую худобу, для восьмиклассника был весьма жилист и силен. Оттого магазинных носильщиков, сшибавших рубли, к драгоценной коробке он не допустил. Невзирая на возражения папы Булавинова, грузил телевизор сам.

На летнее время семья Булавиновых по распределению получила три полноценные путевки в хороший подмосковный дом отдыха, недалеко от Истринского водохранилища. Вилка и Анечка к тому моменту благополучно сдали экзамены, страшно волновались до, и смеялись над собственными страхами после. У Анечки результаты были чуть лучше, у Вилки чуть хуже, подвело проклятое сочинение, но в целом отстрелялись неплохо. И вот настало время заслуженного летнего отдыха.

## Уровень 6. Вторая тень василиска

Целых две недели каникул Вилка с бабушкой Аглаей Семеновной должны были провести в братской Прибалтике и не где-нибудь, а в жутко престижной Юрмале, в ЦКовском санатории. То был подарок Танечки и Геннадия Петровича младшему Мошкину за первый полученный в его жизни аттестат. Вилкина мама поехать с сыном никак не могла. Нынешним июлем ей предстояло принимать вступительные экзамены у прибывающих с разных концов света абитуриентов, всех мыслимых оттенков кожи и самых экзотических наречий и вероисповеданий. Барсукова же ехать с пасынком, само собой, никто не приглашал. Впрочем, Иннокентий Родионович во всеуслышание заявил, что и сам бы никуда не поехал в виду страшной занятости и новой политики партии и правительства. Какое он мог иметь непосредственное отношение к этой политике, Барсуков, однако, не затруднился пояснить.

И Вилка отбыл вдвоем с бабушкой. Так нудно и так шикарно он не отдыхал еще ни разу в жизни. Обычно его летние приключения начинались и заканчивались в пионерских лагерях от маминого или отчимового институтов, где Вилка отбывал две смены подряд и превесело. Иногда Барсуков брал Вилку в студенческий «Буревестник» на Черноморском побережье вблизи города Сочи, где Викентию Родионовичу полагалась целая комната в отдельном домике. Барсуков его на отдыхе почти не доставал, только поручал Вилке следить за чистотой и порядком в «номере», сам же с утра до вечера резался в преферанс и попивал пиво с местным начальством, иногда отвлекаясь от этих важных занятий для прочтения обязательных проповедей подопечному курсу. Вилка же целыми днями крутился среди отдыхающей студенческой братии. Студюзусам Барсуковский пасынок, незлобивый и услужливый парнишка, был по душе, и они принимали бесхозного мальчишку на свое попечение. Называли рекрутом и салагой, посылали с мелкими поручениями и учили играть в пляжный волейбол. И явными и неявными намеками выражали Вилке сочувствие по поводу наличия в его жизни каменолобого и хитрожопого отчима, иногда высказываясь в адрес начкурса Барсукова и вовсе нелицеприятно. Но Вилка доносчиком никогда не был, и оттого студенты вскоре переставали стесняться его совсем и говорили о Викентии Родионовиче напрямую, все, что о нем думали. А думали они в основном плохо. Что Вилку, однако, совсем не удивляло. В глубине души он был полностью согласен с их мнением о своем отчime.

В Юрмале все обстояло по-другому. Строгий санаторский распорядок нарушать воспрещалось, да и Аглая Семеновна ни за что бы этого внуку не позволила. Вилку она очень любила, но и беспокоилась, как бы на мальчика не оказали влияния беспутные гены отца, гуляки и разгильдяя, и оттого полагала, что здешний режим пойдет Вилке только на пользу. И Вилка уныло плелся каждый божий день на предписанные и совершенно бесполезные для его абсолютно здорового организма курортные процедуры, принимал мерзко пахнувшие йодом ванны и глотал кислородные коктейли. Его слабые возражения бабушкой во внимание не принимались. А как же! Надо пользоваться, пока выпал случай. Неизвестно, когда еще попадешь в подобное место, да и попадешь ли? И Аглая Семеновна пользовалась вовсю.

Еще бы! Бабушка только одних нарядов привезла большущий чемоданище, и чуть ли не каждый вечер щеголяла в столовой за ужином, и в зале, где крутили кино, и на вечернем кефире, в новом, аккуратно отглаженном платье. Конечно, у Аглаи Семеновны не было таких нарядов и драгоценностей, какими могли похвастать иные ЦКовские дамы и жены. Но зато у бабушки в Москве имелась превосходная портниха, Тамара Ильинична, старая подруга, шившая недорого преотличные платья и костюмы, и даже легкие пальто. И еще Аглая Семеновна, ласково, но упорно настаивала на том, чтобы Вилка непременно сопровождал ее на оздоровительные прогулки к морю, в концертные походы и на другие санаторные, развлекательные мероприятия. Совсем не потому, что бабушке не с кем было проводить время. Уже

на второй день по прибытии в Юрмалу Аглая Семеновна перезнакомилась с доброй половиной отдыхающих дам и барышень, и удостоилась приглашения в их круг в почетном звании близкой знакомой и протееже самих Вербицких. Вилка же требовался ей для иных целей. Аглая Семеновна непритворно гордилась своим единственным внуком и, с вполне объяснимым тщеславием, желала, чтобы окружающие тоже знали и видели, какой Вилка у нее почтительный и хорошо воспитанный мальчик. Бабушка расхваливала его налево и направо всем случайным слушателям, не забывая упомянуть, что ее дорогой внук учится в физико-математической школе и нынче только что сдал все экзамены на «отлично». Тут она немного уклонялась от истины, но Вилка ее не поправлял, следуя гуманному правилу: не хочешь – не слушай, а врать не мешай. Жаль только, бабушка не позволяла ему купаться в море, мотивируя свой отказ тем, что вода в нем слишком холодная. Вода в Балтике и впрямь была далека от южных температур, редко поднимаясь выше восемнадцати градусов. Но холодна она была для бабушки, а вовсе не для Вилки, который и в самые суровые зимы никогда не простужался и не грипповал, хотя частенько, как говорила мама, бегал «расхристанным».

Зато Вилке выпало полно времени для того, чтобы предаваться собственным мыслями, или читать на досуге, сидя рядом с Аглаей Семеновной и ее новыми курортными знакомыми, с трудом раздобытую книжку. Книжка эта, взятая под святое, железное слово у папы Булавинова, «Принципы математики», 1913 года издания, принадлежала перу незабвенного Бертрана Рассела, мысли же Вилки принадлежали в основном Анечке.

Со времени убийственного откровения, снизошедшего на Вилку в доме Булавиновых, для младшего Мошкина не изменилось почти ничего. Разве только он сделался совсем своим в Анечкином семействе и даже приобрел некоторые обязанности. С ним советовались, ему доверяли домашние проблемы и секреты. После побега кота Модеста в метро из Анечкиной сумки, исключительно на Вилке лежала теперь обязанность по доставке строптивного и вредного животного к районному ветеринару. И кот, надо сказать, Вилку охотно слушался, был готов ехать с ним куда угодно. В теплое время года по воскресеньям именно Вилка выводил посидеть на лавочке во дворе бабушку Абрамовну, и он же поднимал старушку обратно под руки на пятый этаж.

Людмила Ростиславовна, Вилкина мама, не находила ничего дурного в том, что сын каждый выходной и частенько в праздники торчит до вечера у Булавиновых. Напротив, она считала, что Вилке куда полезней проводить время с милой ему девочкой и ее милой семьей, чем выслушивать воскресное бурчание вечно чем-то озабоченного Барсукова. Анечка была маме симпатична, к чувствам Вилки же мама относилась с тактичным пониманием, хотя догадывалась о многом и иногда жалела сына. Впрочем, Людмила Ростиславовна, умудренная годами и жизнью с Барсуковым, считала, что Вилке рано отчаиваться, и что со временем все в его юной судьбе может еще двадцать раз перемениться.

Конечно, вокруг Анечки в последний год стало крутиться немало парней, особенно из старших классов. Для Вилки в этом не было ничего удивительного. Да и как могло получиться иначе, если Анечка выросла в эдакую красавицу. Вилку утешало только то обстоятельство, что Анечка к ухаживаниям за ней разномастных кавалеров относилась демонстративно равнодушно. Раздосадованные юнцы, естественно, винили во всем Вилку как счастливого соперника, и младшему Мошкину не раз и не два приходилось драться. Знали бы они, насколько ошибались на его счет! Иногда Вилке даже казалось – Анечка нарочно прячется за его спину, чтоб избавиться от приставаний и приглашений, но для Вилки и это было лестно и хорошо. Как ни крути, но для Анечки пока что именно он, Вилка, ближайший и единственный друг, готовый ради нее и в огонь, и в воду.

На второй неделе их с бабушкой отдыха, произошло событие. С гастрольями прибыл известный театр из Москвы. Предлагались три спектакля из постоянного репертуара, и о том город извещали расклеенные заранее афиши. Билетов в кассах было днем с огнем не достать,

те давно уж шли с рук за тридцать три цены. Но в ЦКовском санатории имелся свой резерв. К тому же среди избранных отдыхающих совсем не наблюдалось особого ажиотажа. Театр и его звезды отнюдь были не в диковину санаторной элите, все просмотрено и пересмотрено еще в Москве и на закрытых премьерах. Оттого Вилке и бабушке достались преотличные места в третьем ряду партера недалеко от середины, по смешной цене два рубля пятьдесят за билет.

А надо сказать, что в труппе театра на первых ролях заслуженно пребывал всесоюзно известный Актер как раз из числа Вилкиных «друзей». Им Вилим Александрович Мошкин гордился отдельно и более других любил. Актер появлялся на экране и в телевизоре столь часто и в таких замечательно неповторимых образах, что Вилка сколько угодно мог восторгаться своим «другом» и собственным предвидением его сногшибательной карьеры. Особенно в отношении Актера прозорливому Вилке льстило то обстоятельство, что он, Вилка Мошкин, угадал одну его выдающуюся способность. Однажды Вилке пришло в голову, что Актер не просто с успехом мог бы играть и творить на сцене театра и в кино, но и не менее успешно петь на эстраде. И Актер в скором времени действительно запел. Вилка был в восторге. Его совершенно не смущало то обстоятельство, что Актер, несмотря на превосходный слух, оказался почти начисто лишен голоса, который он старательно и преотлично заменял врожденным обаянием и умением «держат» зал. К тому же из светских рассказов Танечки Вербицкой сам Вилка как-то раз узнал к превеликому удивлению, что Актер, по слухам, больше всего на свете ненавидит свою концертно-эстрадную деятельность и проклинает тот день, когда злодейка судьба против его воли «преподнесла» ему такой подарочек. И теперь Актер, вместо того чтобы заниматься более приятным для себя делом, вынужден таскаться по правительственным, юбилейным и ведомственным концертам, и нет никакого спасения от этой напасти. Вилка слухи о «друге» не воспринял всерьез. Мало ли что досужие языки болтают о столь великом человеке! Может, Актер всего-то немного приустал от своей безмерной славы.

В театре же и вообще живьем Вилка своего героя и «друга» никогда в жизни не видел. Как-то не довелось. Детских спектаклей с участием Актера не было, а на вечерние представления, до сей поры, Вилку не допускали за малостью лет. И вот он идет с бабушкой на «Ревизора», по мнению критиков, лучшую постановку столичной труппы, где Актер – сам Хлестаков. Аглая Семеновна тоже была в приподнятом настроении, и, в предвкушении удовольствия, хотя Актер и не был ее «другом», не поскупилась, сунула в руку Вилке трешник:

– Вилечка, купи цветочков у входа. Только, смотри, свежих, не помятых.

Вилку уговаривать не пришлось. Идея с цветами была хороша. И не он один, многие покупали у хмурых, чистеньких пожилых латышек, разнообразные букеты. Вилке достались три красные и две розовые пышные гвоздики, перевязанные обрывком белой, бумажной ленточки. Смотрелись они очень даже неплохо. Аглая Семеновна похвалила:

– Приятные цветы. Не бедно и не вычурно, в самый раз. И на колени можно положить, и соседям не помешает. Ты, Вилечка, их подаришь в конце.

Вилка не возражал. Подарить цветы «другу», что может быть лучше! Подойти близко-близко, сказать «спасибо», а он, может, выделит Вилку в толпе и кивнет тоже как другу, словно бы почувствует что-то.

Места у них оказались просто замечательные. Почти в середине, видно и слышно преотлично. Когда на сцену в нужный момент действия вышел Актер, у Вилки аж дух захватило, так он был рад. Ловил каждое слово, каждый жест, а когда Актеру по ходу пьесы приходилось уступать реплики иным персонажам, Вилка все равно не спускал с него глаз, пытаясь разглядеть малейшую черточку немного уставшего лица, представить себе, о чем Актер думает в этот момент вынужденной паузы.

Артисты, игравшие в этот вечер «Ревизора», а некоторые из них были друзьями Актера без кавычек и тоже непритворно его любили, заметили, что сегодняшний Хлестаков почему-то нервничает. То и дело смотрит куда-то мимо партнеров по роли и взглядом испуганно обегает

партер, будто ищет кого-то или чего-то. Но вроде бы на сегодняшний вечер никаких местных и столичных бонз в театре не ждали, да и Актер давно уже мог себе позволить их не опасаться. Из дому вроде бы тоже дурных вестей не поступало. Случись иначе, труппа уже была бы в курсе.

А Хлестаков тем временем приближался к сцене пьяного хвастовства в доме у городничего. Скоро должны были прозвучать знаменитые «курьеры, курьеры!». И Актер начал свой коронный монолог. Он уже не беспокоился слегка. Нет. Его охватила теперь полноценная тревога, исподволь перетекающая в страх, необъяснимый и неотступный. И, повернув лицо к залу, Актер снова принялся прочесывать его мятущимися глазами. И в этот раз очень скоро, нашел то, что искал. Взгляд, устремленный прямо на него, неотвратимый как апокалипсис, и не оставляющий ни одного шанса на побег.

Вилка глядел на сцену уже не столько жадным взором, но словно всем своим существом, распахнутым наружу и млеющим от восторга. Актер, исполняя одну из главных сцен комедии, вдруг, неожиданно посмотрел на Вилку и так же неожиданно и непонятно задержался на нем взглядом. Вилка и обомлел: неужели же Актер почувствовал в нем родственную душу, признал «друга»? И в ответ еще более восторженно уставился на Актера. Тот не отвел и не опустил глаз. Пьеса шла своим чередом. Актер произносил положенные по роли слова уже в состоянии настоящей паники, отчего они звучали в совершенстве выразительно и вдохновенно. Он продолжал все также против воли смотреть на Вилку, шестым чувством понимая, что ему уже не вырваться.

Вилим Александрович Мошкин был на вершине счастья. И от Актера, и от его бесподобной игры, и от внимания к его собственной персоне. В голове его мысленно стали вспыхивать одно за другим слова: «Гений! Гений! Самый Великий! Самый Замечательный на Свете! Мой «Друг»! Пусть к тебе придет Всемирная Слава! Навсегда! Навечно!». И тут перед Вилкой закружился привычный, бело-розовый с желтым, огненным сиянием хоровод. Только на сей раз он вышел другим. Актер будто бы тоже кружился в нем вместе с бешено несущимися в дикой пляске красками, он был внутри сворачивающегося стремительной спиралью вихря и как бы внутри самого Вилки, все так же неотрывно глядя мальчику в глаза. Актер протягивал к Вилке несуществующие руки, и явственно слышался его голос. Этот голос молил и плакал: «Пусти, пощади меня, пощади!», и совсем жалобно: «Я не хочу-у!». Но было уже поздно. Вилка не успел понять, что случилось, и предпринять тоже ничегошеньки не успел. Да он и не знал как. Вихрь затянул, утопил в себе Актера, расплавил, будто в солнечной плазме, само его существо, растворил в слепящей вспышке, разобрал на атомы, протоны, электроны, кварки, и бог еще знает на что. До Вилкиного сознания донеслись эхом последние слова «друга»:

– А-а-а! Как же больно! Ма-а-мочки!

И больше ничего. Актер исчез, контакт был утерян. Вилка вспотевший и напуганный, смотрел на сцену и уже был в состоянии видеть. На сцене происходило непонятное. Шум, гам, беготня. Шум стоял и в зрительном зале. Тут Вилка почувствовал бабушкину руку, крепко вцепившуюся в его запястье.

Актер лежал на сцене, с белым, как у покойника, лицом, с рукой, судорожно тянувшейся к горлу. Глаза его были закрыты, губы посинели. Спектакль, само собой, прервался, некоторые зрители повставали с мест. Раздался чей-то короткий, возмущенный возглас:

– Да пропустите же. Я врач! – и какой-то низенький, сухощавый человечек взобрался на сцену, склонился над Актером. – В больницу и немедленно. Что вы встали, берите его на руки! Да не так!

Человечек жестами показал как. Двое из артистов, суетившихся рядом, подняли тело на руки, понесли за кулисы. Маленький врач бежал следом и продолжал громко на ходу отдавать команды:

– Несите прямо на выход. Хватайте любую машину. Некогда ждать «скорую»!.. Да о чем вы? Любой поможет и отвезет, когда узнает кого. Только берите с просторным салоном! – И уже в сторону, ни к кому не обращаясь, маленький врач вздохнул:

– Может, еще успеют.

Актера унесли. Но зрители не расходились. Занавес не опустили, и сцена стояла открытая. Однако, не пустая. На ней стояли еще артисты в гриме, кто-то из администрации, костюмеры, билетеры, и бог знает кто. Люди на сцене переговаривались с людьми в зале.

Кто-то предлагал немедленно отправить депутацию в больницу, ждать новостей и просто дежурить, кто-то собирал деньги непонятно зачем. На руки горластой, толстой женщине зрители складывали принесенные цветы, передать больному Актеру или... Об этом «или» пока говорили приглушенным шепотом, все же надеясь на медицину, лучшую в мире, а в Прибалтике, по слухам, пребывавшую на особенной высоте.

Вилка, подталкиваемый расстроенной и возбужденной Аглаей Семеновной, тоже подошел к толстухе с цветами и положил свои гвоздики поверх других букетов. Женщина важно ему кивнула, будто Вилка совершил невесть какой значительности жест, и что-то сказала, Вилка не понял смысла ее слов. Он вообще плохо воспринимал то, что происходило вокруг, словно вдруг сознание его переместилось из театрального зала на самое дно вязкого, непрозрачного океана, убивающего звуки и краски и малейшую ясность изображения. Вилка даже не чувствовал страха, он ничего не успел сложить в одно целое и понять тоже ничегошеньки не успел. Знание уже зрело в нем, достоверное и безжалостное, но Вилка пока не приглашал его войти и проводил в состоянии неопределенности последние минуты своей бывшей простой жизни. Аглая Семеновна вывела его из театра за руку, приятно удивленная чувствительностью внука.

Актера до больницы все же успели довести, но и только. Он умер в приемном покое, так и не придя в сознание. Как обычно, когда дело касалось всесоюзно значимой личности, соответствующие органы опасались криминала. Была назначена немедленная судмедэкспертиза, то есть вскрытие и исследование на предмет возможного злонамеренного отравления или иного какого телесного ущерба, приведшего к летальному исходу. И вот, в итоге, патологоанатом и два его помощника в задумчивости рассматривали уже битых полчаса аккуратно явленные на свет божий внутренности несчастного тела.

– В жизни ничего подобного не видал. А я, парни, повидал немало, уж можете мне поверить, – сказал, наконец, старший патологоанатом Аверьянов своим двум помощникам, молчаливым латышам-ординаторам, стоявшим по обе стороны от трупа, словно сфинксы у входа в храм. Патологоанатом вытащил из смятой пачки «Стюардессы» уже восьмую за эти полчаса сигарету и закурил, все так же задумчиво глядя на распаханное настезь тело Актера.

– Павел Константинович, какое заключение теперь писать? Такого диагноза официально не существует, – отозвался левый сфинкс, тщательно и медлительно выговаривая русские слова, но все равно с сильным местным акцентом.

– Да уж. Буквально «сгорел на работе». Нет, вы только гляньте, – патологоанатом Аверьянов провел свободной от сигареты рукой круг над телом, – вы только гляньте, и больше такого не увидите. Это же полный физический износ. Сколько ему лет-то было, сорок пять? Сто сорок пять, судя по этой впечатляющей картине! Здесь же полная разруха и старческая древность, жизненных соков ни грамма же не осталось, будто их до предела выжали. А с таким сердцем он не то, что играть на сцене, шага бы сделать самостоятельно не смог.

– Возможно, застарелое хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы? – спросил уже правый сфинкс, также медлительно и спокойно, как и левый, однако с еще более сильным акцентом.

– Дурак ты застарелый, прости меня господи! Какое хроническое заболевание? Тут один диагноз: предельная старческая дряхлость. Ты на печень посмотри! На почки, на желудок! Мозг словно изнутри выжгли. Его уж лет с пяток должны были бы в инвалидной коляске



возить, – Аверьянов в сердцах зашвырнул недотянутую сигарету в угол. Немного погода полез в пачку за новой. Прикурил. – Что ж. В заключении я конечно укажу. Инфаркт миокарда. В виду изношенности сердечной мышцы и крайнего переутомления. Только это полный бред.

– У артистов тяжелая и нервная работа. Возможно, это из-за постоянного воздействия стрессовых ситуаций, – снова заговорил правый сфинкс, немного обиженный отповедью шефа.

– Возможно, возможно! На лицо, как молодой, а внутри – труха. Иначе остается все списать на похищение нашей звезды инопланетянами и проведение над ним антигуманных экспериментов. Другого объяснения сему феномену у меня нет, – вздохнул патологоанатом Аверьянов. Постоял еще немного, потом манул рукой, дескать, зашивайте. И отправился писать правдоподобное заключение.

Вилка вынырнул из засосавшего его подводного царства лишь на следующее утро. Словно очнулся не только от ночного сна без сновидений, но и от вчерашнего непробиваемого тумана в голове. И мир со всей своей силой и звуковой мощью тут же осел на его плечи. Вилке на время пришлось стать атлантом, чтобы удержать рушащийся небосвод. Для начала он приказал себе успокоиться и прибегнуть к разуму и излюбленным логическим построениям. Отчасти тут же и полегчало.

По логике формальной и традиционной выходило, что внезапная смерть «друга», о которой на утро уже знал весь городок, и Вилкино вчерашнее видение в театре никак фактически не связаны и не следуют одно из другого. Этого просто не могло быть. По логике формальной и традиционной.

Да ведь беда состояла как раз в том, что сам Вилка знал наверняка: «друга» убил он, и никто иной. Он помнил, как его убивал, хотя и не понимал до сих пор механику процесса и главное: почему? Он любил Актера и никоим образом не мог желать ему смерти. Тут у Вилки похолодело внутри. Аделаидову-то, Борьке, он желал, да еще как! И что же вышло? Спустя какую-то пару минут Борьки не стало. Вывод? Уж лучше без него.

Однако, в случае с «инопланетянином» Вилке потом было плохо, он мучился и болел, страдал кошмарами. А сейчас ничего такого нет и в помине. Так может, он, Вилка, не причем? Или тогда, с Борькой, это был вовсе не он. А вдруг и сейчас не причем? И знал уже ответ. И сейчас, и тогда, он, Вилим Александрович Мошкин, при чем, и очень даже.

Вилку охватил страх. Именно страх и ничто другое. Он вспоминал после и через много лет, что первым его ощущением тогда были не радость и не торжествующая жадность до дарованной ему необъяснимой власти, не гордость за свое могущество и значимое преимущество перед прочими смертными. Отнюдь. Несчастный, растерянный паренек, он задышался от ужаса и отвращения к самому себе, ощущая себя испорченным и прокаженным существом, изгоем и бешеной собакой, за которой по пятам мчатся уже живодеры с сеткой и петлей. И он принял единственное, правильное решение. Затаиться и размышлять, и не болтать ни в коем случае, чтобы не стать навечно постояльцем какого-нибудь дурдома. Слава богу, тот не обидел его мозгами, и если кто может ему помочь, то только лишь он сам, Вилка в состоянии помочь себе. И, прежде всего, необходимо было разобраться в главном: кто же он все-таки такой, этот Вилка Мошкин, и что конкретно отличает его от остальных людей?

## Уровень 7. Собачья звезда

С того дня Вилка превратил себя в двуликого Януса. Одной ипостасью, ничем не отличающейся от повседневного Вилки, повернутого к внешнему миру, другой, затаенной, но единственно подлинной, – от этого мира скрытого. Словно бы Вилка теперь носил на себе сразу два, совсем разнородных комплекта одежды, первый поверх второго. Первый костюм был как бы маскарадный и маскировочный одновременно, и ничем не отличался от естественного облачения других людей. Второе его одеяние, приросшее к телу Мефистофельское трико, Вилка тщательно прятал и старался никак и никогда не являть на свет. Но именно ему отдавал все свои помыслы и без усилий отныне сращивал с собственной личностью.

Второй облик, однако, требовал от своего владельца определенных навыков и состояний. То есть, попросту говоря, в целях безопасности личной и общественной, Вилке предстояло изучить и понять смысл собственных возможностей, и хоть как-то овладеть открытой в себе неизвестной природной силой.

Трудность, главная, но не единственная, заключалась в том, что Вилка не имел никакого иного объекта для исследования, кроме самого себя, а, стало быть, и эксперименты в познавательных целях он мог осуществлять только над собственной персоной. Но любой такой эксперимент потенциально был очень опасен, и Вилка это понимал. Две смерти уже произошли из-за его неведения и самонадеянности, и обстоятельства, им предшествовавшие, находили меж собой весьма мало сходства. Плохо оказалось и то, что Вилка не имел под рукой совсем никакого материала для сравнения, и уж конечно не мог задавать вопросы. Он был такой один, и он был в подполье.

Однако, уже вернувшись с бабушкой в Москву, и столкнувшись с необходимостью общения в прежнем своем жизненном уровне, Вилка набрел на пугающее, но, возможно, и обнадеживающее обстоятельство. Все дело было в его старом школьном приятеле, давно уже воспринимаемым Вилкой в образе некоей обязательной, но незатейливой и не очень обходимой детали повседневного интерьера. Настолько мало интересной самой по себе, что Вилка никогда и не задавался целью ее постижения, как не вникал в смысл, пусть и занятных, но бес толково ненужных завитков на финских, моющихся обоях своей квартиры. Речь шла о Зуле Матвееве, шахматисте-разряднике и дамском угоднике, влюбленном в бестолковку Торышеву, искреннем поклоннике Норберта Винера и царицы наук кибернетики. До сей поры зачастую лишний своим присутствием Зуля как-то выпадал из Вилкиной зоны внимания, пребывая на ее окраине на незаконных правах. Но теперь все стало иначе.

Вилка корил себя за глупость и невнимательность, за детскую беспечность, так лихо окатившую его из помойной лохани навечным чувством несмыслимой и безусловной вины в смерти двух человеческих существ, а ведь мог он, подняв забрало, поглядеть в лицо реальности и много раньше. Или хотя бы спросить, что хотел сказать Зуля, открыв без обиняков – он наблюдает за чем-то интересным ему Вилкой Мошкиным. И не так давно вышел меж ними тот разговор. Но Вилка не спросил, хотя именно тогда екнуло внутри в первый раз, удивился и прошел мимо. Зато теперь следовало допросить Зулю во что бы то ни стало, невзирая на последствия. Матвеев определенно нечто знал о Вилке, даже если знание его не шло далее неправдоподобных догадок. В любом случае два ума всегда больше, чем один.

Анечки еще не было в городе, и Вилке следовало искать Матвеева самому. Тут и выяснился один нелицеприятный факт, слегка обескураживший Вилку. Он не знал ни Зулиного телефона, ни адреса. За все восемь лет знакомства и сидения за одной партой так и не удосужился узнать. Матвеев всегда звонил первый, и в гости к Вилке тоже являлся он, а не наоборот. Выходило, что Вилка вообще ничего толком не ведал о внешкольной жизни близкого и единственного приятеля, можно сказать друга. Только то, что Матвеевы квартируют в

ведомственном доме на «Академической», а где именно, бог его знает. В телефонном справочнике копать оказалось также без толку. Вилка не представлял себе ни имени, ни отчества Зулиного отца, а Матвеевых, проживающих вблизи «Академической» набралось на целых пять страниц. Выбора не было, и Вилка принялся обзванивать всех Матвеевых подряд. Где-то оказывалось «занято», по другим номерам вообще никто не снимал трубку. И не удивительно: на дворе август, многих семей вообще нет в Москве. О планах Зули на лето Вилка само собой ничего не слышал. Через час безуспешных поисков его согнал с телефона пришедший с работы Барсуков и велел не занимать линию. Викентий Родионович ждал важного звонка, то есть возможности потрепаться с факультетскими доносчиками и сплетниками о том, кого в этом году приемная комиссия утвердила помимо баллов и списков, и чего это по слухам стоило заказчикам.

Квартиру Матвеевых Вилка вычислил только на третий день нелегких трудов, с самого утра засев за справочник. По закону подлости нужный ему номер, зарегистрированный на имя Матвеева Якова Аркадьевича, числился в списке предпоследним. К трубке подошла Зулина мама, и Вилка чуть не сгорел со стыда, когда понял, что не знает, как к ней обратиться. Но интеллигентная, вежливая женщина, видимо, распознала Вилкины затруднения и представилась сама: Вероника Григорьевна. Зули дома не оказалось, он был с отцом на открытии какой-то промышленной международной выставки. Но Вероника Григорьевна пообещала, что часам к пяти вечера ее муж и сын, наверняка, вернутся домой.

Вилка едва дождался назначенного часа, снова позвонил. Авессалом Яковлевич Матвеев, он же Зуля, только вошел в дом, еще даже не снял обувь, но тут же в коридоре подошел к аппарату, договорился с Вилкой о встрече. Завтра, у него на «Академической», после того, как родители отбудут на дачу. Вилку сговорчивость приятеля не удивила, за годы он привык к Зулиной безотказности, хотя, до сей поры, не понимал скрытых причин такой готовности к услугам.

Обстановка на «Академической» Мошкина ошеломила. Конечно, видывал он апартаменты и на порядок богаче, взять ту же Танечку, но Зуля и пятикомнатная громадина в роскошной «сталинке» никак не сводились в его сознании в единое целое. Да, в обстоятельства жизни семейства Матвеевых Вилка не вникал, но и точно помнил, что сам Зуля ни разу за все время их знакомства и вообще в школе ни словом не обмолвился о своих общественных привилегиях. Зуля, можно сказать, в этом смысле оказался скромником. Никогда ничего особенного и вызывающего ни в одежде, ни в поведении, просто умненький парнишка и шахматист, сын середнячков родителей без претензий, разве что с забавными странностями в поведении. Таким Матвеев выглядел, и до сего дня таким для Вилки и был.

Но теперь выходило, что Матвеев был не обычный Матвеев, а сын какого-то особенного Матвеева Якова Аркадьевича. Вилке стало интересно. И, поскольку Зулю он в принципе не стеснялся раньше и не видел причин менять свое отношение к нему сейчас, Вилка попросил приятеля удовлетворить возникшее любопытство и объясниться. Зуля так же охотно согласился и на это. Пока Вилка совершал экскурсию по безразмерному Матвеевскому жилищу, Зуля кратко и как-то небрежно изложил ему историю происхождения семейного благосостояния.

На деле оказалось, что Зуля не сын особенного Матвеева, а внук. Знаменитому деду, собственно, и принадлежали пятикомнатные хоромы, как и богато обставленный антиквариатом кабинет и блистающие серебром и позолотой награды в застекленном шкафу. Старик Матвеев, увешанный регалиями авиаконструктор, правая рука и наследник чуть ли не самого Королева, был еще жив и относительно бодр, несмотря на изрядный груз лет.

– А где он сейчас? – поинтересовался Вилка, обойдя совершенно пустую квартиру.

– Где ж ему быть? Лечит печень и желудок в Эссендуках. Дед у нас еще ого-го, крепкий. Отец до сих пор боится, что дед возьмет, да и на старости лет в другой раз женится. Чтоб отцу досадить.

– А отцу твоему какое дело? – не понял Вилка.

– Ну, ты даешь! А квартира? Отец удавится, но делиться не станет, – пояснил Зуля.

– Он, что с твоим дедом не ладит? – осторожно полюбопытствовал Вилка.

– Ладит – не ладит, не в этом штука. Дед Аркаша, он совсем другой. Есть и есть, а нет, так и переживать не станет, тем более что дед все сам заслужил и заработал. Мог бы еще во сто раз больше, только он просить за себя не любит. А моего отца он даже в глаза называет хапугой и пиявкой на теле науки. Когда они ругаются, дед кричит, что ему стыдно за такого сына.

– Ну? А чего твой папаша натворил, что его так?..

Зуля на секунду замешкался, почесал нос:

– Как тебе сказать? Отец у меня вообще-то ничего, заботливый. Все для меня и для мамы, старается в общем. Но как-то не так, – тут Зуля опять замолчал, видимо подбирая нужные слова. – Понимаешь, его только одно интересует: где и что он может достать, добыть или даже украсть. А дед это все ненавидит. Опять же, отец мой, он кто? Заведующий отделом оборудования экспериментального НИИ. Заказы, поставки, взятки какие-то и вообще темные дела. Мотается по всему миру, от Токио до Калифорнии, и отовсюду что-то тащит, тащит. Потом меняет или продает и опять тащит. Дед Аркаша ему один раз даже морду набил, при нас с мамой, между прочим. За то, что отец на японскую стереосистему орден военный, весь в драгоценных камнях, выменял. Велел обратно отдать или в музей отнести.

– И что, отнес? – спросил немного опешивший от такой откровенности Вилка.

– Не знаю, думаю, нет. Я же говорю, что к отцу в руки попало, то пиши пропало, – ответил Зуля скучным голосом, словно речь шла о самой обыденной на свете вещи.

– А чего же он тогда с дедом не разъедется? Раз тот его по морде бьет?

– Он же не дурак. Думаешь, мы переехать не могли? Да сто раз! И кооператив построить, и что угодно. У отца денег бы хватило. Но он эту квартиру боится потерять больше всего. Такую не построишь, такую можно только от государства получить. А отцу кто даст? И разминивать жалко. Вот дождется он, когда дед помрет, и оформит ее вроде как мемориал герою космонавтики. Отец сможет, он пронырливый. Дед знает об этом и злится. А что поделаешь? Ему нас с мамой жалко. Говорит, пусть не из сына, так хоть из внука человека сделаю. Вот и записал отца в ответственные квартиросъемщики, дескать, опека над престарелым родственником.

– А ты за отца или за деда? – спросил Вилка.

– Я, само собой, за деда. А это все так, баракло. Скучно же, – ответил Зуля, и, похоже, не покривил душой.

Вилке ответ понравился, да он и многое объяснял. И Зулино пренебрежение к вещам, и нежелание трепаться о знаменитом деде Аркадии Илларионовиче, и некоторый аскетизм в образе жизни. Но, с другой стороны, подумал Вилка, легко пренебречь тем, что и без того имеешь в избытке каждый день, а попробовал бы Зуля сделать то же самое, скажем, на Анечкином месте. Не слабо ли оказалось бы продвинутому шахматисту? Впрочем, Вилка в этот вопрос углубляться не стал, у него сегодня в доме Матвеевых намечались другие цели. Следовало, наконец, поговорить о том, ради чего он, Вилка, предпринял поездку на «Академическую».

Однако, благоразумие, которому Вилка учился прямо на ходу, подсказало ему не открывать сразу же все свои карты, а сперва разузнать, что именно известно о нем Зуле и как тот лично к этому знанию относится. Трудностей в проведении словесной разведки Вилка не видел никаких, памятуя привычку Матвеева сразу же выдавать полную информацию на сделанный запрос. «Похоже на ЭВМ. Человек-машина, – подумалось Вилке, – надо только правильно спросить».

Но начал он издалека. Осторожно и не в лоб. Хотя и понимал, что в этот раз предосторожности излишни, и Зуля ему необходим. Видимо, просто сработал инстинкт самосохранения. И Вилка ударился в воспоминания. К тому времени оба приятеля сидели в Зулиной комнате, прихватив из холодильника две бутылки лицензионной пепси-колы краснодарского производства. Зуля пытался, однако, подбить Вилку на хищение отцовского чешского пива, мотивируя кражу тем обстоятельством, что отец никогда прямо не запрещал употребление напитка и вряд ли был бы сильно против. Но Вилка от заманчивого предложения отказался. Пиво он еще никогда не пил и не мог знать его воздействия на свой растущий организм, а голова Вилке сейчас требовалась светлая и трезвая, чего он ждал и от Матвеева.

Постепенно, но и особо не затягивая дела, Вилка перевел разговор на покойного Аделаидова. И честно рассказал о своих давнишних ощущениях и переживаниях. Правда, о черном вихре и стене, умолчал, уж слишком отдавало бы враками, а Вилке нужно было доверие.

– Как думаешь, из-за того, что я Борьке пожелал скорее сдохнуть, могло все и случиться? Или как-то подтолкнуть?

– Не знаю, – ответил ему Зуля, – может, и могло. Психотропные поля, телекинез. Область, наукой не исследованная. Дед рассказывал, что гипнотизер Мессинг одними глазами чайные ложки в узлы вязал, пустые бумажки мог вместо денег выдавать.

– Так то гипноз, – возразил Вилка.

– А тут что? Мозговой импульс, тоже гипноз. Может, ты ему подсознательно установку дал, – резонно заметил Зуля.

– А плохо мне стало тоже от гипноза? Две недели в постели провалялся. Здорово загипнотизировал, ничего не скажешь, – не без ехидства ответил ему Вилка.

– Любой импульсный скачок есть выброс энергии, эх ты, позор на всю нашу школу! Просто ты произвольно потратил слишком много сил, а восстановиться не сумел, – резюмировал Зуля.

Разъяснение выглядело здоровым и вполне научным, все же Вилку слегка смущали неисследованные и неведомые психокинетические поля. Однако, сказавши «А», следовало произвести «Б», но для начала Вилка решил вывести на чистую воду друга Авессалома:

– Ты потому за мной наблюдаешь, что я какой-то биологический феномен? – спросил Вилка, но увидел в глазах Зули совершеннейшее непонимание. – Ну, помнишь, я тебя однажды спросил, а ты ответил, что следишь за мной.

– А, ну да, – ответил Зуля, подозрительно вяло и с явной неохотой, словно речь шла о неприятных и опасных для него вещах. – Я не то имел в виду.

– То есть, ты никакого гипноза не чувствовал? – разочарованно протянул Вилка. – А я уж подумал, что ты, как бы это сказать, из собственного опыта, что ли. Воздействия ощущал, или ..., ну я не знаю, что еще. А ты, значит, считаешь меня совершенно нормальным, только с полями? А зачем тогда следить? Эксперимент ставил, что ли?

«Да уж, с Зули станется! – подумалось Вилке с обидой. – Ему, что друг, что лабораторная мышь, разницы, поди, никакой. Если интересно». Но тут Матвеев ответил и снова поразил Вилку до глубины души. Последний вопрос он проигнорировал вовсе, как несущественный, а сказал так:

– Нормальным я тебя не считаю, и не считал никогда. Но и поля здесь не причем, – и отхлебнул «колу» из бутылки. Вытер губы, поморщился:

– Давай лучше пивка возьмем. Да ты не бойся, не захмелеешь. Я уже пробовал. Оно некрепкое, вода водой.

Ошеломленный Вилка покорно побрел за Матвеевым на кухню взять пива. Глотнул из откупоренной бутылки. А ничего, вкусно. Только очень холодно, зубы ломит. Зато пиво придало решительности. Вилка снова вцепился в Матвеева.

– Если я ненормальный, а про поля ты только что придумал, зачем тогда следить? – Вилка уже начинал злиться и оттого повысил голос. – Что ты дурочку валяешь? Толком сказать не можешь? Тайны какие-то идиотские!

– А ты не ори, – тихо и тоже зло ответил шахматист Матвеев. – Сам из меня дурака делаешь, и я же виноват! Ты чего вообще пришел? Тебе чего от меня надо? Думаешь, я телек не смотрю и газет не читаю? Или рассказывай все, как есть, или не морочь мне голову и катись отсюда!

– Каких газет? – искренне удивился Вилка. – Причем тут газеты?

– Притом. Ты откуда недавно приехал? Не помнишь, что ли, как все уши нам с Анькой прожужжал: «Ах, Юрмала! Ах, санаторий ЦК!». А что в Юрмале недавно стряслось, шуму на весь Союз было? Аккурат, когда там отдыхал некий Вилка Мошкин. Или скажешь, что тебя в том театре не было? Чего тогда ко мне заявился, еще и приехать не успел? И не поленился, нашел. Посмотрите, люди добрые, какая срочность! Мозги мне пудрит событиями трехлетней давности. Ты сначала ответь: был ты там или не был?

– Был..., – упавшим голосом, на выдохе признался Вилка.

– Ну, так я и знал. Между прочим, по городу, в определенных кругах, слухи ползут нехорошие. Дескать, умер народный любимец не просто скоропостижно, а очень даже загадочно. При вскрытии тела были явлены чуть ли не чудеса. Да такие, что экспертизу засекретили. Говорили об отравлении и происках ЦРУ, но это уже кумушки навывдумывали. Однако дыма без огня не бывает.

– А ты откуда все это знаешь, бабушки на лавочке пересказали? – попробовал пошутить Вилка, но на самом деле ему стало совсем несмешно. Об экспертизе в Юрмале, он, само собой, ничегошеньки не слышал, да и откуда, а потому Зулино сообщение ему не понравилось совершенно.

– Не бабушки, а мамина приятельница позавчера в гостях. Она в том театре старшим администратором служит, и в Юрмалу, кстати, тоже ездила. Я ее спросил, вроде просто так, она мне и сказала, что в тот вечер в зале было полно народу из вашей номенклатурной богадельни.

– И что же делать? – ни к селу ни к городу спросил Вилка.

– Что делать? Не знаю. Ты вообще зачем его убил?

– Я не хотел. Я не нарочно. Я наоборот, чтоб ему хорошо было, – Вилка сбивчиво понес уже полную околесицу:

– Чтоб слава и счастье, ведь «друг» же. Я как лучше... Ведь было здорово.

– Уж куда лучше. От любви до ненависти один шаг, и тот до гроба доведет... Ты поаккуратней с этим, – вдруг наставительно и строго сказал Матвеев.

– В смысле, с психотропными полями? – с надеждой переспросил Вилка.

– Причем здесь поля. Ты и без полей у нас... Поосторожней с Тем, ну что там у тебя. Поля, это так, ерунда. Хотя, конечно, и поля тоже. В общем, думай. И я думать стану.

– Толку-то что, думай не думай, чертовщина какая-то получается, – Вилке снова сделалось нехорошо.

– Пусть чертовщина. У нее тоже свой порядок имеется. Система! И законы свои есть наверняка. Вот их и будем изучать.

– С ума сошел! – воскликнул Вилка. – Совсем ты с ума сошел! Как изучать? А если, не дай бог, еще кто-нибудь копыта двинет?

– Обязательно двинет. Если не выясним, как ты это делаешь, то двинет непременно, – уверенно ответил Зуля.

– Но почему? Откуда во мне..? – почти плача спросил Вилка и, чтобы успокоиться, солидно глотнул пива из бутылки.

– Да это неважно откуда. И почему тоже неважно. Какая разница, откуда и почему в определенном количестве материи взялась определенная сила тяготения? Важно, что она есть,

и известно, как она действует. Поэтому никто в здравом уме не станет прыгать с пятого этажа, зная, что гравитация его размажет по асфальту. Это главное, – изложил Зуля свои соображения на проблему.

– А тебе не страшно со мной? – на всякий случай поинтересовался Вилка.

– Не особенно. Так, немного. Я все же не законченный идиот. Зато с тобой не соскучишься, – жизнерадостно подвел итог Авессалом Яковлевич Матвеев. И увлек Вилку за собой на кухню, выуживать из отцовских запасов еще по одной бутылочке восхитительного чешского напитка марки «Золотой фазан».

Бутылочки оказались не последние. Набегов на кухню произошло по крайней мере два или три, а может даже больше. Вилка, находившийся в состоянии душевной неопределенности и некоторой физической и моральной раздробленности, отслеживать процесс был не в состоянии. Напился первый раз в жизни и выболтал в порыве хмельной откровенности Матвееву, державшемуся куда бодрее, тайну стены и черного вихря. Зуля ничуть не изумился, сказал, что ожидал чего-то подобного и предложил еще хлебнуть пивка, дабы отметить полное доверие и взаимопонимание. Но по дороге к заветному холодильнику Вилку начало тошнить. Внезапно и неудержимо. И в холле, и в стремительном полете к «белому другу», так что в фарфоровую импортную вазу Вилке, плюхнувшемуся рядом на коленки, изливать, строго говоря, было уже совершенно нечего.

О возвращении домой в подобном состоянии не могло идти и речи. Ладно, мама, но не хватало, чтобы Вилку лицезрел в столь непотребном виде Барсуков. То-то будет нравоучений! Да и не хотелось давать отчиму лишний козырь в руки.

Все устроил Зуля. Пиво почти не подействовало на него, видимо и впрямь сказывался определенный стаж. Отпоив несчастного кофе, Зуля сунул в руки Мошкину телефонную трубку и велел отпроситься на ночь. От кофе Вилке стало плохо совсем, и пришлось снова наведываться в туалетную. После чего заботливый друг Авессалом не очень вежливо оттранспортировал драгоценный «феномен» спать на свой собственный шикарный раскладной диван.

## Уровень 8. Доктор Фаустос

Собственно, после запойного визита к новоявленному сообщнику, у Вилки и началась другая, «интересная» жизнь. Не только в смысле постижения закономерностей употребления алкоголя и грядущего за ним похмелья, но, как говорили древние греки, познания самого себя. И первое оказалось куда проще второго, хотя, в телесном смысле, куда как мучительней.

В одном драгоценный друг Зуля, однако, был, несомненно, прав. Мозги на то и даны человеку, чтоб думать, ну а голова, следуя той же логике, на то, чтоб соображать. Для начала же следовало определить направление и подсобрать кое-какую информацию.

Очень скоро Вилке путем обычных, ненавязчивых вопросов, удалось установить тот факт, что никто из осторожно расспрашиваемых им собеседников не имеет ни малейшего понятия ни о какой внутренней стене. И то же самое относительно черного вихря. Выходит, первое отличительное свойство было Вилкой найдено. Ни мама, ни Анечка, ни Татьяна Николаевна, ни маленькая Катюша ничего подобного никогда не испытывали. А Вилкино любопытство посчитали за очередной приступ бурной фантазии, вызванный чрезмерным увлечением американской научной фантастикой. Зуля заодно попытал своего заслуженного деда, чем привел старика в крайнее раздражение, и выслушал достаточно резкие слова. Дескать, от любимого внука дед Аркаша никак не ожидал нечестных попыток обвинить его в старческом маразме и никакими видениями сроду не страдал, чего и другим желает. В общем, еле помирились.

Ну что ж, пусть будет стена. С ней-то как раз все обстояло просто. Это Вилка понимал и без Матвеева. Со стеной бороться куда как легко. Надо только ни в коем случае сквозь нее не проходить, даже если очень обидно, тогда и черный вихрь не объявится, голова не разболится и никто, слава богу, не помрет. Вилку тут же обеспокоило одно неутешительное соображение: «А вдруг опять появится в его жизни такой вот Аделаидов, и он, Вилка, не воздержится, сорвется в гнев и тогда полный крах. Он снова станет чьим-то невольным убийцей». Но тревога подступила и тут же откатилась назад. Нет уж, более не сорвется. Как бы ни был он зол, а не сорвется. Что угодно, пусть хоть в рожу плюют, лишь бы не этот ужас. На Аделаидовых и другая управа найдется, что ж сразу жизни лишать. И с одним-то Борькой на совести неясно как дальше быть, еще других покойников недоставало. Он, Вилка, не какой-нибудь там Джеймс Бонд и даже не Добрыня Никитич, чтоб со змеем поганым воевать и повсеместно обличать зло. Он всего-навсего школьник. Да и былинный богатырь, чай, не загадочными полями ворогов истреблял, а булатным мечом и качественной военной подготовкой. То есть оставлял противнику потенциальный шанс отбиться и навешать в ответ по первое число. А Бонд эвон как ловко скачет с пистолетом, Вилка у Танечки в гостях смотрел по видеку, и дерется не хуже восточного человека Брюса Ли. Он же, Вилка, разве что бегаёт быстро, и то в секцию легкой атлетики поленился записаться. Да и что это за герой, который беспомощных людей, пусть и нехороших, изводит тишком, из-за угла. Опять же, это может Вилке несчастный Аделаидов был нехорош, а бедному его отцу академику очень даже хорош. И по всему выходит, что Вилка гад и убийца, хоть и не нарочно. А уж что б нарочно, нет, ничто более Вилку на этом свете не заставит страшную стену перейти. Подумал так, и будто сам себе клятву дал.

Только вот беда. В Юрмале, с Актером, никакой стены и в помине не было. Ни глухой, ни прозрачной. И ненависти тоже не было, совсем наоборот. Что же тогда было? Над этим Вилка и ломал голову. От Зули, как назло, помощи не выходило никакой, одни дурацкие догадки и вопросы. Так до конца каникул и промаялся. И весь сентябрь тоже. Даже Анечка заметила, все спрашивала, не заболел ли. Мама, та к счастью, решила, что Вилкино беспокойство от дополнительных нагрузок в школе. Однако Вилкины проблемы оставались на том же месте, где и были, вытесняя из головы и учебу и даже самое святое – Анечку. И до их решения оставалось куда как далеко.



Вот и сегодня, опять толкли воду в ступе. Сидели у Вилки в комнате, как обычно, делали вид, будто страшно заняты уроками. Мама дважды звала ужинать, только отмахивались. Слава богу, Барсуков велел Вилку не беспокоить. Видать, отчима Вилкино рвение к наукам настраивало на положительный лад и составляло некий предмет гордости. И ладно, хоть какая-то польза от его занудства. Мама, на то она и мама, по собственному почину, принесла Вилке и его гостю бутерброды с «докторской» и по кружке сладкого чая. Дело пошло веселее.

– Не может подобного быть. Должна хоть какая-то малость обнаружиться необычная. Ну, хоть капелька, – чуть притворно захныкал Матвеев и уставился на Вилку хитро-умоляющим взглядом, словно Иуда на Христа.

– Да я ж тебе толкую. Все было как всегда, – в очередной раз уныло задолдонил Вилка. – Никакой стены. Я ж просто вне себя от счастья тогда только что не летал. И он на меня посмотрел. Я его прям заобожал, горы бы своротил, коли б он попросил. Прямо фонтан цветов перед глазами кружился, так хорошо было.

– Постой, постой, какой еще фонтан? Ты про фонтан ничего не говорил, – строго и в то же время азартно спросил Зуля.

– Да какой фонтан! Обычный, как у всех. В тебе, к примеру, когда очень чего-то хочется или просто кого-то любишь, разве цветное не кружится? И так хорошо-о потом, – мечтательно протянул Вилка.

– Ничего у меня нигде не кружится. Ты погоди, дурак, ты про свой фонтан давай подробнее. Какой он, к примеру, из себя? – Зуля аж заерзал на стуле от любопытства.

– Какой? Ну, какой! Цветной весь. В основном белый и розовый, часто еще желтого много. Да и не фонтан это вовсе. Я для образности сказал. Скорее, как спираль в калейдоскопе закручивается, все быстрее и быстрее, а потом рассыпается. Будто фейерверк.

– Или вихрь, – Зуля уже не спросил, а словно констатировал непреложный факт. Лицо его стало цепко сосредоточенное. – Только с Борькой он был черный и рассыпался в черную же пыль. И тебе стало плохо. Так?

– Так... То есть, что же, тот же самый вихрь, разве цвет другой. Постой, постой... Там сразу плохо, тут хорошо. А ты точно уверен, что никогда в тебе не кружилось..? – Вилка и догадывался уже и страшно отчего-то боялся.

– Ничего и никогда. Ни черное, ни зеленое, никакое, – уверенно и окончательно ответил Матвеев.

– Может, надо еще кого порасспросить? Как в прошлый раз? – с надеждой спросил Вилка.

– Не надо. Пустая трата времени, – сказал Зуля, но, увидев нечто в Вилкином лице, жалостливо добавил:

– Если хочешь, конечно, можно и разузнать.

– Да, наверное, можно. Но ведь стены никакой не было! Этот фонтан, вихрь, в общем, эта гадость сама переродилась. И не в черное, а в огненное, ревущее. Жуть прямо. Никогда раньше такого не происходило, – сказал Вилка, и весь передернулся от неприятного воспоминания.

– Значит, было что-то еще. Ты вспомни получше. Но только не сегодня и не сейчас. У меня голова уже не варит. А по стереометрии, между прочим, осталось три задачи, – подвел неутешительный итог Зуля.

Вилка на следующий день честно начал вспоминать. Но вспоминать одно лишь Юрмальское происшествие оказалось бессмысленным. Вилка, немного помаявшись с неопределенными и разрозненными обрывками прошлого, уразумел, что дело так не пойдет и необходимо некое сравнение и сопоставление фактов. Как было до, и что поменялось после. Пришлось вернуться назад, в детство, раннее и не очень.

На поверку вылилось, что снежно-розовый вихрь являлся в Вилкиной жизни не столь уж и великое число раз. При дотошном подсчете, если отчеркнуть Аделаидова, вышло ровно двенадцать случаев. Вилке же, в силу то ли собственной впечатлительности, то ли от остроты

ощущения, до сей поры казалось, будто явление вихря занимало чуть ли не лучшую и большую часть его жизни. К тому же обнаружилась и еще одна прелюбопытнейшая деталь: никогда вихрь не возникал и не крутился в Вилке сам по себе, а непременно по отношению к иному лицу. То есть для этого требовалось всегда как минимум два человека: сам Вилка и тот, кто способен был по существу своему произвести нужное впечатление и вызвать восторг и нешуточную симпатию к себе. И только при подобном условии внутри Вилки Мошкина включался непонятный механизм, который и приводил в движение пресловутый цветной вихрь. Но было и другое.

Припомнив, насколько возможно, каждое явление, Вилка выявил еще одну закономерность. Иным лицом, как правило, оказывался кто-нибудь из его заочных «друзей», то бишь, человек, непосредственно с Вилкой не знакомый и ничем материальным не связанный, вольный поселенец абстрактного мирка, созданного его мальчишеским воображением. А значит, выходило, что никого из них Вилка не лицезрел вживую и никаких контактов ни с кем из них иметь не мог. За исключением бедняги Актера и еще одного только, близкого Вилке человека. Человек этот, а именно дорогая Вилкиному сердцу Танечка Пухова, в замужестве Вербицкая, и была в данный момент главным камнем преткновения на пути Вилкиной мысли, ибо сводила на нет всю стройную систему рассуждения. Если допустить, что загадочный вихрь, не причинявший никакого вреда на расстоянии, являл свою губительную силу при контакте Вилки с объектом его симпатий, то отчего же, убив Актера, вихрь никогда не причинял ни малейшего вреда Танечке. А ведь с Актером хватило и одной единственной встречи, Танечка же присутствовала вблизи Вилки несчетное количество раз.

«Да, но с Танечкой этот проклятый цветной хоровод кружился лишь единожды, когда я был совсем малышом и точно помню: сидел у Танечки на коленях. Я жалел ее, и мне хотелось плакать, а потом стало хорошо. И более по отношению к Танечке вихрь не являл себя ни разу», – возражал сам себе Вилка и запутывался еще более прежнего. Но тут же и сказал своим досужим мыслям «стоп»! Осадил и загнал в темный угол, чтоб не сбивали толку. Нужен строгий научный подход, а не слезливые воспоминания. А значит, как утверждал старик Ньютон, одни и те же явления должны по возможности быть объяснены одними и теми же причинами. Тогда выходило, что если бы все дело заключалось единственно в явлении разноцветного вертящегося балагана в сознании, то Танечке однозначно, как и покойному Актеру, еще много лет назад настал бы каюк. А раз ничего подобного не произошло, то собственно радужное кружение в голове здесь не причем. И Вилку осенило. Догадка вышла верная и, по мнению автора, гениальная. Дело не в вихре, то есть и в нем отчасти тоже, дело в виде контакта, да! Чего не было в случае с Танечкой? Она и Вилка не смотрели друг на друга. Вилка и сейчас помнит, как приютился у Танечки на руках, уткнувшись лицом в ее мягкую, полную грудь, глаза его были закрыты, Танечка ласково и рассеянно гладила Вилку по редким волосенкам. И понятия не имела, что там крутится у малыша внутри. Не то было с Актером. В огненном вихре их очутилось двое, когда, встретившись взглядами, из зала и со сцены, они зацепились, словно лодки баграми, друг за друга, и никакими силами расцепиться уже не могли. Актер, чувствуя скорую гибель, пытался сбежать, умолял отпустить, и именно глазами он говорил, слова будто вырывались через его расширенные от ужаса зрачки, а Вилка ничего не понимал и освободиться тоже не мог.

Тут сразу стало легче. И со снежно-розовой напастью тоже можно справиться. Не надо только смотреть. Да, наверняка, можно сделать и так, чтоб вихрь совсем не возникал. По крайней мере, в отношении живых людей, а не когда они в кино или телевизоре. И, о, эврика! Подумать о чем-нибудь особенно мерзком и противном, о цветной вареной капусте, например, которую Вилка и на дух не переносил, и тут уж будет не до восторгов. Зато Вилка перестанет быть социально опасным типом, как выражался порой об отдельных личностях товарищ Барсуков.

Вилка бросился звонить Матвееву, и, плюнув на конспирацию, тут же выболтал все по телефону. Зуля выслушал, ни разу не перебив. И про Танечку, и про Актера. Вроде остался доволен и даже сдержанно похвалил за качественно проделанный анализ. А после аккуратно добавил в Вилкин бочонок меда чайную ложечку дегтя.

– Насколько я тебя понял, одна лишь Татьяна Николаевна, попав непосредственно под воздействие этого явления, смогла уцелеть. А почему только она, как же твоя Аня?

– Да Аня здесь причем? – негодуяще зашипел в трубку Вилка. – С Аней никогда ничего такого не было.

– То есть, как, не было? – искренне изумился Зуля. – На тебя посмотреть, так на Аньке свет клином сошелся. И при таком вселенском обожании твоя конфетная карусель ни разу не закружилась?

– Не-ет, – все, что смог ответить Вилка.

– Ну, тогда, брат, ты сам себе врешь. И Аньку ты ни капельки не любишь. Или чего-то ты упустил. Думаю, все не так просто, – постановил Матвеев и, наскоро попрощавшись, повесил трубку.

Вилка же еще какое-то время простоял у нудящего короткими гудками аппарата, как старуха у разбитого корыта.

А ведь верно! Если цветная карусель по сути своей есть выражение Вилкиной сердечной симпатии и даже любви, то и Анечка, и мама, и бабушка Глаша непременно должны были бы хоть единственный раз вызвать ее к жизни. Что же это получается? Самые дорогие ему на свете люди никаких сияющих красками восторгов открыть в нем не могут, а чужие дяди и тети, да еще по телевизору, – нате вам, пожалуйста? С другой стороны, Танечка, почти родной человек, и с ней вышло. Загадка! Прав Зуля, что-то такое Вилка упустил.

Но неясности в явлении вихря были уже не столь опасны и страхолюдным пугалом Вилке не представлялись. Главное, более или менее понятно, как защитить ни в чем не повинных людей от самого себя, и отныне не иметь на совести ничьей гибели. А с неясностями Вилка постановил разобраться в одиночку, не посвящая в замысел Матвеева. Он решил поставить эксперимент.

И не на ком-нибудь, на Анечке Булавиновой. Упаси боже, без малейшего вреда для девочки. Смотреть в прекрасные Анечкины глазки Вилка, конечно, и в мыслях не имел, он вообще не собирался смотреть на нее непосредственным образом. Да в этом и не возникало никакой нужды. У Вилки к этому времени собрался целый отдельный альбом Анечкиных фотографий, черно-белых и цветных, и живая Анечка для эксперимента была совсем ни к чему.

Идея представлялась фантастически простой. Если розово-желтому верчению для самозарождения определенно оказывалось достаточно голого киношного изображения, и это в случае с абсолютно посторонними личностями, то, учитывая Вилкины многострадальные чувства, с Анечкой хватит и фотографий.

И вот, однажды вечером, когда мама с Барсуковым кстати отбыли на закрытый просмотр в Доме Культуры МГУ Смирновской «Осени», Вилка извлек с полки заветный альбом. Разложил самые удачные снимки на столе и стал смотреть. Через полчаса нагляделся до рези в глазах, и все без пользы. Ничто цветное и кружащееся не явилось. Тогда Вилка, подумав немного, сменил тактику. Теперь не тупо пялился на фотографическое изображение, а представил себе Анечку, так сказать, в естественном движении. Как она ходит, как смеется, как небрежно откидывает со лба пышную челку и как иногда, увлекшись разговором, берет Вилку за руку. Затем, как-то произвольно, представилось, что он, Вилка, целует Анечку, а та в ответ целует его. На сердце сразу стало горячо, и кровь прилила к щекам. Ага, это уже ближе к истине, отметил про себя Вилка и продолжил воображать в том же духе.

О том, что случилось далее, Вилке после было стыдно вспоминать. Хуже, чем в самых нескромных, эротических снах. Удовольствия и восторги он, конечно, получил, но без всякого вихря, и совсем-совсем другим способом. Тьфу! Эксперимент полностью провалился, что и говорить. Немного оправившись от позора, приведя себя в порядок и попив на кухне крепкого чая для «успокоения нервов», Вилка, однако, постановил ни за что не отступаться. И, уж если с Анечкой вышло такое паскудство и безобразие, то попробовать тот же метод, но уже на маме или бабушке Глаше.

Фотографии опять были разложены на столе, на сей раз из семейного альбома, и Вилка приступил к вдумчивому созерцанию. Но вспоминалась некстати какая-то манная каша с комочками, которую его заставляла есть бабушка в далеком детсадовском прошлом, и хороший, от души, нагоняй за принесенный в дом с окрестной стройки кусок колючей стекловаты. Тогда, преодолев не без усилий собственное злопамятство, Вилка принудил себя думать о светлом и добром. О том, как сильно мама и бабушка его любят и как заботятся и волнуются по пустякам. И как мама защищает его, Вилку, от Барсукова, всегда-всегда становясь на сторону сына, даже если тот неправ. И что бабушка, а она ведь старенькая и видит плохо, все репетиторствует на дому, и из этих денег обязательно откладывает большую часть Вилке на подарок. То на новый велосипед, то на модную сумку для школы. Чтоб внук был не хуже других. А у бабушки Глаши большое сердце и давление на погоду скачет. Ну, как случится инфаркт, и все. Бабушки не станет. И без нее ужас как плохо. А когда-нибудь придет и мамин черед, и Вилка останется на белом свете один или, что еще хуже, с Барсуковым. И будет он несчастный и никому не нужный.

Тут Вилка осознал, что уже всю хлюпает носом – из глаз, от жалости к себе, текут ручьем горячие слезы. А чудесного вихря как не было, так и нет. Как раз наоборот, впору бежать топиться от тоски. Стало быть, он снова получил арбуз. И семейная часть эксперимента тоже провалилась с оглушительным треском.

Вилка во второй раз отправился пить чай на кухню. От нервов... Помогло. Но и почувствовал обиду. Как же несправедливо устроен мир. Что же выходит, Танечку, пусть милую и добрую, он любит больше чем родных маму и бабушку? И зачем тогда вообще нужен этот цветной калейдоскоп? Чтоб только гадости подстраивать. Одного хорошего человека погубил, Вилке в душу плюнул. И хоть бы польза от него была б, пусть самая малая! К примеру, что такого замечательного от этого дурацкого верчения получил лично он, Вилка? Ровным счетом ничего. А вреда вышел целый вагон. Или взять Танечку. Слава богу, пронесло тогда, одно счастье, что жива осталась. А в прибытке-то чистый ноль!

Стоп! Стоп, еще раз стоп! Вилка зацепил поразившую его мысль за самый краешек и теперь тянул изо всех сил, чтобы не упустить. Его прошиб пот, то ли от горячего чая, то ли от дрожи, сладко и страшно прокатившейся по телу. Не ноль, совсем не ноль! На секунду запнулся, боясь подумать дальше, замер в предвкушении грядущей разгадки. Пусть не всей и не до конца, пусть хоть чуть приподнимется завеса, но то был уже свет во тьме.

Совсем не ноль получила тогда Танечка, наоборот, целую сотню или даже, если хотите, тысячу. Что случилось вскоре после явления того самого первого в его жизни вихря? Правильно, Танечка вышла замуж. Чего желал ей Вилка? Принца на белом коне, то бишь, на кремовой «Волге». Что-что, а на память Вилка Мошкин сроду не жаловался. Вот принц и был явлен немедленно именно на белой, новехонькой ГАЗ-21.

Но это, допустим, случайность. Хотя очень сомнительная случайность. Ладно, Танечка, пожелав выскочить поскорее замуж, получила то, что хотела, и незамедлительно. Что ж, бывает и такое. Но чтобы в точности по Вилкиному велению и воображению? Порядок подобной вероятности неестественно огромен, и оттого почти невозможен. Эх, кабы у Вилки нашелся еще малюсенький примерчик благотворного влияния вихря на людские судьбы! Да только Танечка – единственный человек на свете, лично общавшийся с Вилкой, вызвавший вихрь и остав-

шийся при этом в живых. Иные его «друзья» общались с Вилкой, так сказать, в одностороннем порядке. То есть Вилка имел возможность их наблюдать, а сами «друзья» о его существовании знать не знали. И оттого проверить влияние Вилкиных цветных круговращений на их жизненные пути выходило совсем нереальным.

Но и тут услужливая память не дала Вилке поблажки. Поднесла каверзу на блюдечке. Как по волшебству в голове зазвучали давние слова мамы Люды: «И каких только бездарей по телевизору не показывают! Без таланта и без голоса! Видно, лапу волосатую имеют!». А вот вам фиг! Не лапа, а он, Вилка, делал карьерные взлеты своим любимцам. То есть, некоторые середнячки, незаслуженно вылезшие в большие звезды, наверняка имели лапы различной силы и длины. Но Вилку интересовали исключительно те из них, кто по странной прихоти его симпатий вызывал цветную круговерть.

Вилка, верный научному методу, не стал полагаться на слепую случайность доводов. Так и возник Альбом Удачи. С виду, конечно, это был никакой не альбом, а простая общая тетрадь в твердом переплете, несколько дефицитная по тем сказочным, застойным временам, тускло-коричневым дерматином напоминавшая обивку входных дверей лестничной клетки. Но Вилка, как в первый раз открыл ее на первом же глянцево-м листе, так и стал именовать тетрадь не как-нибудь, Альбомом с большой буквы. В нее со школьной, прилежной тщательностью он выписал по именам и фамилиям всех до одного своих «друзей», вклеил фотографические карточки, добытые из старых номеров «Советского экрана», «Огонька» и форзацев книг, и завел своеобразный учет. Как «друзей», не блиставших особенными способностями или обладавших достоинствами сомнительного качества, так и безусловно талантливых и даже гениальных личностей. Вилка, подумав, рассудил здраво, что талантливые скорее нуждались бы в удаче и поддержке, чем бездарные, но пройдошливые серости, и оттого влияние вихря на их судьбы отследить, возможно, будет проще.

Но, помимо, заведенного им кондуита, Вилкино «Я» нуждалось безотлагательно и срочно в одной еще весьма необходимой вещи. А именно в собственном самоопределении. Качества, открытые или приписанные Вилкой самому себе, требовали от него внутренних постановлений. Тогда Вилка и решил именовать себя в своих собственных мыслях и представлениях не как-нибудь, а красиво: «торговец удачей». Однако Матвеев с ним не согласился:

– Глупость какая-то, а не понятие! Разве ты торгуешь? Торговля – это когда ты кому-нибудь даешь одну вещь, а взамен получаешь другую или, скажем, деньги. А ты что получаешь, кроме неприятностей? И удача у тебя подозрительная. Если, конечно, дубовый гроб полтора на два можно вообще назвать удачей! Но, ладно. Пусть будет «торговец», раз тебе так хочется.

Само собой, Матвеев был в курсе и Альбома и Вилкиных расследований. Он и помогал. Собирал информацию и компромат на «друзей», приносил статьи и журнальные вырезки. И со временем, если принимать Вилкины судьбоносные способности всерьез, пришел к выводу, который сам Вилка из виду упустил. Удача, даруемая вихрем, как и любой вид энергии, имела тенденцию к довольно быстрому рассеиванию. То есть, чтобы поддерживать постоянный уровень везения «друга», Вилка должен был неукоснительно подпитывать того своим вниманием и по возможности добрыми пожеланиями. Так двое его «друзей» из довольно раннего школьного детства перестали впечатлять Вилкино воображение, и естественным образом оказались им позабыты. На беду, оба «друга», один из них актер из нашумевшего в свое время юношеского революционно-героического сериала, красный дьяволенок, и второй, вернее вторая, милая девушка, исполнявшая роли принцесс в нескольких фильмах, обновлявших репертуар передачи «В гостях у сказки», особенными талантами совсем не блистали. И вскоре после абсолютного забвения их Вилкой полностью прекратили свой звездный взлет. Однако, когда произошло мысленное возвращение к ним младшего Мошкина, в течение всего лишь полугода не только вынырнули из небытия и периферийной халтуры, но и снялись каждый в отдельной художественной ленте, тут же прославившей их на весь Союз.

Справедливости ради надо сказать, что Вилка поднял забытых им «друзей» обратно из грязи в князи не ради эксперимента по настоянию естествоиспытательского зуда, возникшего у верного оруженосца Матвеева. Вилку посетили искренние угрызения беспокойной совести. В конце концов, очень жестоко по собственной прихоти подарить людям удачу и славу, которую самостоятельно поддерживать они никак не смогут, а после, в силу одной только забывчивости и равнодушия к прежним кумирам лишит их всего. И Вилка дал себе самое святое слово, что отныне и вовеки, каждую неделю будет сверяться с Альбомом Удачи и проверять, не забыл ли он часом, не пропустил ли, не обездолил ли кого из «друзей» вниманием и поддержкой.

На многое открылись вдруг его глаза и в отношении Танечкиной жизни. Самое обидное и страшное подозрение повзрослевший Вилка испытывал от мысли, что навязал двум ни в чем не повинным людям подневольное существование. Что Танечкин брак долгое время не мог функционировать без Вилкиного, пусть и неосознанного вмешательства, было очевидно. Отсюда и мужнины прошлые загулы, и Танечкины жалобы, и немедленное прекращение бедствий после посещения дома Мошкиных. Не так уж и неправа оказалась Татьяна Николаевна, говоря, что у Мошкиных ей ворожат на удачу. Эх, знала бы она! Но теперь уж ничего поделать было нельзя. И Вилке предстояло до конца дней своих или Танечкиных нести ответственность за благополучие в семействе Вербицких. Однако и тут его утешил Зуля Матвеев:

– Дурья башка, и больше ничего! Во-первых, твоя Татьяна Николаевна сама напросилась и потом, она же получила то, что хотела? А во-вторых, что бы с ее муженьком случилось без твоего вмешательства тоже неизвестно. Может, спился, а может, еще чего похуже. Так что он бога должен за тебя молить. Да ты и сам говорил, что последнее время они почти не ссорятся, а куда как мирно живут себе поживают. Все к лучшему.

– Зуля, погоди, – Вилка на миг запнулся пораженный одной внезапной догадкой, – а не может статься, что моя удача обладает как бы кумулятивным эффектом? В смысле имеет определенное свойство накапливаться. При контакте и постоянном воздействии, конечно.

– Все может быть, – важно кивнул Матвеев. – Надо бы проверить. И вообще, в твоём случае еще много чего непонятного. Надо, надо все проверить.

– Надо, – ответил Вилка и сумрачно вздохнул.

## Уровень 9. Анакен Скайуокер

Девятый учебный год, независимо от следствия двух знатоков, неумолимо шел своим чередом. И тернии были на его пути. Как будто Вилке не хватало проблем с самим собой! Но на то она и школа, чтобы нахально и язвительно не считаться с личными, жизненными ситуациями.

С Анечкой тоже не все обстояло благополучно. Нет, не то чтобы она переменялась в своем отношении к Вилке, к несчастью, не те это были отношения, чтобы меняться от прихоти симпатий, но все же в подруге многих своих школьных лет суровых явно сквозила некая напряженность, направленная именно в Вилкину сторону. Он догадывался, а честнее сказать, знал определенно, что сам вызвал в Анечке это душевное состояние. Слишком замкнувшись на собственных блужданиях в лабиринте самоопределения, Вилка упустил совершенно из виду, какое впечатление произведут его внутренние поиски разгадки своей сущности на людей, в его тайны непосвященных. И в Анечкиных глазах все чаще читал он досадное недоумение, а то и тревогу. Посвятить же ее в страшноватые загадки своего сомнительного дара Вилке не виделось никакой возможности. Не хватало еще напугать и оттолкнуть единственную на свете девушку, с которой Вилка мог мыслить себя рядом. Если его побаивался даже Зуля, а Вилка кожей чувствовал, что это так, то что уж говорить про Анечку! Может, однако, он был и несправедлив по отношению к ней, но проверять на практике состоятельность своих предположений Вилка не считал возможным. Слишком дорога была ему Анечка. Оставалось терпеть и надеяться, что со временем все утрясется.

Но было и еще кое-что. Смутно тревожное и неприятное. Касавшееся и Анечки, и самого Вилки, и еще одного, явно лишнего, третьего лица.

Лицо это появилось в школе нельзя сказать, чтобы неожиданно или как снег на голову. Напротив, его явление было даже прогнозируемо. Предыдущий Вилкин учитель физики, суровый, сухой старикашка, благополучно доведя прошлогодний десятый «А», в коем он предводительствовал как бессменный классный руководитель, до выпускных экзаменов, решил исполнить свою многолетнюю угрозу, отправившись на пенсию. Не то, чтобы его уход вызвал бурю неслыханного горя и массового, трагического вырывания волос на голове, но и особенно худых слов в его адрес отпущено не было. Ушел и ушел, обычное дело. Тем более что по определению Ромки Ремезова, физик являл собой классический образец старого пня средней паршивости.

На место старого пня директор с нового учебного года посадил молодое деревце. Чем вызвал среди школьного народа известное волнение, особенно среди несознательной женской его половины. Новый физик, Столетов Петр Андреевич, был черняв, смазлив, высок и, главное, соблазнительно молод. В школу его привела заботливая материнская рука, дружная с завучем по учебной части, и ожидание места в аспирантуре МИФИ, диплом которого Петр Андреевич имел честь получить нынешним летом.

В Вилкином классе явление молодого Столетова народу вызвало довольное улюлюканье. Нет, никто отнюдь не имел в виду доводить новичка учителя, «нарушать безобразие» или устраивать праздник непослушания. «Второшкольники» слыли людьми серьезными, стремящимися к знаниям, а многие уже занимались и с частными репетиторами. Но малый возраст нового преподавателя навевал приятные мысли о равноправном общении и дискуссиях на злободневные научные темы, чего бы «старый пень» ни за что б на уроках не допустил. А были среди Вилкиных одноклассников и такие, кто собирался впоследствии поступать именно на инженерно-физический, их просто не могли не интересовать личные впечатления вчерашнего выпускника прославленного ВУЗа. Словом, свежеиспеченный учитель физики пришелся как нельзя более ко двору.

Вилка, баранья голова, тоже воспринял появление Столетова с энтузиазмом. Но, как оказалось впоследствии, ненадолго. Он был тогда еще слишком юн и доверчив, чтобы понимать некоторые безжалостные, жизненные истины. А именно тот простой закон, который ведом тем, кто изрядно набил об него шишек. Если ты присутствуешь вблизи бесспорных ценностей, пусть даже не обладаешь ими, но охраняешь для кого-то другого или просто имеешь право их созерцать, будь готов к неперенной зависти, подлым подвохам и провокациям. Одним словом, к неприятностям. И совершенно не играет никакой роли ни возраст конкурирующего претендента, ни обязательства его положения, ни даже общепринятая этика взаимоотношений. Когда дело идет о страстях человеческих в погоне за кладом, ангел порядочности надолго остается без работы.

А Вилка обладал подобным кладом. По крайней мере, на взгляд Петра Андреевича Столетова. Что же имелось такого ценного у обычного московского школьника, пусть и с математическим уклоном? Такого интересного уже взрослому, самостоятельному человеку, но до сей поры так и не обнаруженного? Да то же, что и ранее, и до смешного просто. Просто. Просто Вилкина великая ценность росла вместе с ним, росла и доросла до того времени, когда ценность ее стала очевидна не только покойному подлецу Борьке, но и здравствующему молодому мужчине, взявшемуся открывать премудрости природы недорослям из девятого «А». И смешно толковать о допустимости и аморальности скрытых чувств и желаний Петра Андреевича, вчерашнего студента, и по сути своей, совсем недалеко ушедшего от юношеской пылкости собственных учеников. Беда заключалась лишь в том, что стареющая юность Петра Андреевича стремительно перетекала в жаждущую молодость, а Вилкино повзрослевшее детство пока еще не стало прозревающей юностью. И не было в природе того спасительного поля, где они могли бы равноправно сойтись для битвы или переговоров.

Ценность носила старое и вечное для Вилки Мошкина имя. Анечка. Круг замыкался в том же месте, где и начался, как это свойственно любому кругу. И вскоре последовала массивная атака на ничего не подозревающие, мирно спящие Вилкины позиции.

Надо сказать, что Анечка, в завидном отличии от своего простодушного друга, понимала и прозревала все происходящее вокруг нее. И стоит ли винить ее в том, что по многолетней привычке Анечка выбрала единственную, свойственную ей до сей поры тактику защиты. Спряталась за долговязую и преданную ей до кончиков ушей Вилкину фигуру. Нарочито близко держалась рядом и, казалось, шагу не желала ступить без своего верного оруженосца. Как ни старался выманить ее на открытое пространство Столетов.

Сам Петр Андреевич, к его чести будет сказано, вовсе не имел в виду примерить на себя роль коварного соблазнителя несовершеннолетних девиц, и уж тем более не прочил Анечку в Набоковские героини. Но чувство свое считал достаточно серьезным, Анечку же достаточно заслуживающей внимания, чтобы проторить себе дорожку на будущие годы. В самом деле, друг от друга учителя и ученицу отделяло каких-нибудь восемь несерьезных лет и два финальных класса школы. А после завершения девушкой среднего образования можно было бы приступить и к настоящим, далеко идущим ухаживаниям. И, как правильно мыслил себе Столетов, для верности ему желательно и приятно выходило направить романтические и дружеские Анечкины симпатии на собственную персону.

Но, сам того не подозревая, ему мешал настырно присутствующий вблизи Анечки Вилка. Ничего не ведающий, и не смеющий даже вообразить, что кто-то из школьных его преподавателей, как бы молод и хорош собой он ни был, может иметь в голове нечто, помимо учебного процесса и табельной дисциплины. Сама Анечка, конечно же, не потрудились разъяснить старому другу всю глубину его заблуждений. Она тоже пребывала в замешательстве.

Только суть ее смятений вряд ли пролила бы бальзам на сердце Столетова. Физик ей не нравился. То есть, как физик он был весьма даже ничего, но вот в смысле мужских достоинств и экстерьера не открыл в девушке никаких чувств, кроме досадной неприязни. Как существо



противоположного пола он вызвал к жизни в Анечкином вербальном пространстве одно лишь определение: малахольный! И не очень-то представляя, как благоразумней всего поступить в такой ситуации, нажаловаться родителям, или отправиться с доносом прямо к директору, Анечка избрала для себя третий путь. Дала понять Петру Андреевичу, что место занято, притом давно и надолго. Тем более что подобная демонстрация ее расположения к Вилкиной особе ни к чему вовсе не обязывала. И без того давным-давно они не разлей вода.

А Вилка, погрязший в самосозерцании и прохлопавший ушами все на свете, был спокоен как военная база в Пирл-Харборе в ночь на шестое декабря. Петр Андреевич, напротив, спокойствием себя не обременил и даже ощущал свою персону оскорбленной. Как! Какой-то белобрысый, верстообразный сопляк сочтен достойным удивительной девушкой, а он, преподаватель и без пяти минут аспирант, остроумный, симпатичный и вообще предмет вожделений многих женщин не вышел рылом! Но на Анечке сорвать свою злость Столетов счел за низость, а главное, это не имело смысла. Вилка же подходил на амплу козла отпущения идеальным образом. К тому же, третируя младшего Мошкина, Петр Андреевич приговаривал к смерти сразу двух зайцев: вытравливал пар и выставлал мнимого счастливого поклонника на позор и осмеяние, как полное ничтожество, а, стало быть, умалял Анечкины симпатии к сопернику.

Так понеслось и закрутилось. От урока к уроку, от одной «случайной» встречи в общей рекреации до другой.

– Ты, Мошкин, выдавливаешь решение, будто из тебя глисты выходят, – звучало, когда безмерно часто опрашиваемый на занятиях Вилка медлил пару секунд с ответом. Или:

– С такими потрясающими способностями тебе не то чтобы в математики, в колхозные счетоводы дорога закрыта, – это, когда Вилка ошибался при конечной подстановке цифровых значений в полученную формулу, что по невнимательности бывало с ним частенько и ранее. Только ушедший на пенсию «старый пень» никогда не ставил ничего подобного Вилке в вину. Главное, формула выведена верно, а сосчитать и калькулятор сможет.

– Мошкин, ты сейчас своими соплями всю школу затопишь. Или тебя не учили пользоваться носовым платком? Ты, может, и туалетной бумагой пользоваться не умеешь? Ах, умеешь. А по виду не скажешь. На-ка, вот возьми, – и Петр Андреевич на глазах у гогочущей малышни протягивал пунцовому от его бестактности Вилке уродливую, клетчатую, оранжево-коричневую тряпку из собственного кармана. – Давай, давай, сморкайся, чтоб я видел. Во-от... Ну что ты мне назад свои сопли суешь, дома постираешь и принесешь.

А Вилка, вместо того, чтобы дать по роже, или хотя бы оттолкнуть руку с платком, послушно сморкался и после нес изгаженную тряпицу стирать домой. В нем еще слишком сильно присутствовало с детства лелеемое почтение к старшим и к школьным учителям в особенности. О даже не находил нужным объяснить Столетову, что его сопли – элементарное злоупотребление дефицитными апельсинами, на кои Вилка имел к несчастью злостную аллергию. И что вышеозначенный тропический фрукт вызывал пренеприятнейший отек носоглотки, и его сопли бессмысленно было сморкать и даже лечить «Нафтизином».

Гром грянул под Новый Год, когда Вилка взял в руки первый итоговый табель. Напротив пропечатанного в графе слова «физика» красовалась жирно и с удовольствием выведенная «тройка». Эффект мало сказать, что был велик. Никогда до сего дня эта клетка для оценки не видала иной цифры, кроме «пятерки», и, заметьте, в физико-математической школе. А это о чем-нибудь, да говорит. Вилка только представил себе на минуту, какой каскад скандалов его ожидает дома от злопамятного Барсукова, и как огорчится его нерадивости мама, что сразу же отставил свою мягкую незлобивость в сторону.

– Петр Андреевич, но почему? За что? – закричал он, адресуясь прямо в насмешливое, безжалостное лицо Столетова. И тут, к Вилкиному стыду, глаза его самопроизвольно намокли слезами. Жидкость, пользуясь обидой, как насосом, сразу же перелилась через край,

и классу предстал натурально плачущий двухметровый телеграфный столб, с комичным отчаянием прижимающий к сердцу раскрытый дневник.

Столетову даже не пришлось ставить рыдающего дылду на место. Класс и без того грохнул согласным смехом. Петр Андреевич тоже позволил себе улыбку, словно поддерживая и одновременно дирижируя веселым настроением учеников. Тем паче, что двое из них совсем не смеялись. Анечка, белая от ярости, кусала губы, дабы не наговорить еще более во вред обличительных грубостей. И также от веселья был далек заговорщик Матвеев, менее заметный, но более дальновидный и знающий. Нехорошее, пусть и неопределенное пока ощущение угрозы уже накатило на Зулю изнутри. Он скорее сейчас согласился бы предстать с голым задом перед Ленкой Торышевой, чем рискнул бы вместе со всеми потешаться над Вилкой.

Вилка же в тот момент сознавал только, что все его уважение к физику медленно и верно испаряется неведомо куда, и на место утекающего чувства приходит другое, то самое, какое он дал себе клятву не испытывать ни к кому и никогда. И Вилка испугался, и повелел себе остановиться. Слезы же немедленно высохли сами собой. Черт с ней с несправедливостью, пусть и такой вопиющей, но лишь бы не ЭТО.

Дома его, согласно прогнозу, ждал шквалистый ветер, переходящий местами в ураган, и продолжительный ливень из упреков и печальных пророчеств о его, Вилки, вероятном будущем. Мама, заподозрив неладное, пыталась доискаться до истины, но Вилка не стал переводить стрелки на подлеца-физика. С ситуацией, как ему казалось, он благоразумно предпочел разобратся сам. Одно он с запоздалой сообразительностью уяснил наверняка: Петр Андреевич не просто выставил Вилке незаслуженную «тройку», а объявил тем самым о своей сильнейшей неприязни к ученику Мошкину как таковому.

Со своими выводами и предновогодними поздравлениями Вилка отправился в гости к Булавиновым. Он по-прежнему посещал Анечкин дом с регулярностью, достойной президентских выборов в Америке, то есть являлся каждое воскресенье и в праздники без исключений.

И чуть ли не с порога, отдав бабушке Абрамовне подарочный «Киевский» торт, пожаловался Анечке на судьбу-злодейку в лице коварного физика. Ответ Анечки был пылок и неожиданный:

– Дурень, ох, какой же ты дурень! Вот! Дурень из дурней! И я хороша! Тоже дура набитая! Вот и еще раз вот!

– Да погоди, да отчего я дурень-то? – залопотал несколько сбитый с толку Вилка. – Ты объясни сперва, а потом обзывайся. Вот!

– И ничего я не стану объяснять. И не проси. Вот! – категорично постановила Анечка.

– Никто ничего не желает объяснять! А я заставлю! Не ты, так пусть Столетов объяснится. Это произвол! – загрохотал басом внезапно озлившийся Вилка. – Завтра же поеду к нему домой. Возьму адрес в школе и поеду!

– Господи, ну что ты за идиот такой! Никуда не смей ехать! Вообще на пушечный выстрел к нему не подходи, к этой гадине! И держись от меня подальше, с сегодняшнего дня! Вот! – Анечка раскричалась и даже топнула ногой. Благо Анечкиных родителей не было дома, а глуховатая Абрамовна плохо слышала из кухни.

– Да как же? – опешил от ее слов Вилка. – Как это: держаться от тебя... А Столетов и правда гад. Он мне табель испортил ни за что. Мне с «тройком» никак нельзя.

– Вот именно! И держись от него подальше! И от него, и от меня! – сказала Анечка, и как отрезала. Но тут же пожалела, впечатленная насмерть убитым Вилкиным видом. – По воскресеньям можешь приходить, как всегда! Даже непременно. А в школе ни-ни!

И слово сдержала. С нового полугодия гнала Вилку в школе от себя чуть что не кулаками. А Вилка решил проявить характер. И в первое же воскресенье демонстративно не пришел. Хотя должен был вместе с папой Булавиновым взять кота Модеста жениться к знакомой кошке.

Вместо этого Вилка направил свои стопы к Матвеевскому порогу. Там и пожаловался другу Зуле на несправедливости, его постигшие.

Зуля слушал не слишком внимательно, даже рассеяно, словно, все, что Вилка нудно и обиженно ему толковал, знал уже давно и без него.

– Ты пойми. Он на каждом уроке меня спрашивал, причем не у доски, а с места. И дневник не просил. Я думал, он так просто. А он в журнал ставил. Я ж не знал. Поди проверь. Но я этого так не оставляю, фигу ему! – Вилка скрутил плотную «дулю» и за отсутствием Петра Андреевича сунул свое произведение Зуле под нос. – Я к директору пойду. И докажу. Пусть сравнят, что в дневнике и что у него в журнале!.. Мало мне неприятностей, так еще Аня только что в рожу не плюет. И это за все... после всего...

– К директору, ты, конечно, пойдешь. А то Столетов тебя загрызет совсем, – одобрил план спасения Матвеев. – Но Анька права: не крутись возле нее. Временно.

– И ты туда же. Да что же это такое творится на белом свете? – риторически возопил Вилка.

Однако ответ ему все равно был дан. Матвеев, хмурясь, подробно и без околичностей изложил Вилке, что же, собственно, на свете творится. И выходило, что Вилка все это время был слеп, как везение, и придурковат, как водевильный недоросль.

– Зуля, да ведь он – учитель! Разве может такое быть? – спросил Вилка, но уже и сам знал, что Зуля рассказал ему кристальную правду. – И что же делать? Морду ему, паскуде, набить?

– Морду бить не надо. Не за что пока. Анька его терпеть не может. И из-за тебя, и вообще. А приставать открыто Столетов не решится. Плохо то, что ты единственный, на ком он сможет отыграться. Да и отыгрывается уже.

– Тем более, пойду к директору. Должен же я себя защищать. Раз в морду нельзя, – постановил Вилка.

– И правильно. А я подтверждаю, если надо, – утешил друга Зуля. – Сейчас давай делом займемся. Смотри, что я за прошлую неделю насобирал.

И вывалил перед Вилкой клочки газетных и журнальных вырезок. Последние несколько месяцев ребята ставили, что называется, глубокий эксперимент. У Вилки как раз случилось новое явление вихря и новая симпатия, свежее музыкальное увлечение. Поэтому было решено отследить влияние Вилкиных восторгов и пожеланий непосредственно на «тепленьком» объекте.

Объект исследований, новомодный исполнитель Рафаэль Совушкин, лидер и вокалист, а по совместительству и композитор группы «Намордник» выпевал то ли тяжелый рэп, то ли легкий рок, определить было не просто, чем и произвел на Вилку неожиданное и глубокое впечатление. Группа Совушкина, в идеологическом плане несколько сомнительная, за последнее время, и, очевидно Вилкиными стараниями, добилась громадного успеха. Только, по культурным соображениям и пожеланиям свыше, сменила название и теперь именовалась «Пирамидальной пирамидой». А в целом чувствовала себя в свете софитов и телекамер весьма неплохо, была приглашаема и на радио «Маяк», и в «Голубой огонек», и в «Доброе утро» Николая Юрьева. Вилка вырезками остался доволен и мысленно повелел «пирамидальному» Рафаэлю: «Так держать!». Парочку же особо удачных заметок прихватил с собой для Альбома.

Спустя несколько дней, Вилка, собравшись с мыслями и вещественными доказательствами, отправился в директорские палаты на разборку. И вскоре на ковер, после Вилкиной горячей, пятиминутной тирады, был вызван самолично Столетов с классным журналом девятого «А». Директор, пока еще молча, взял у Петра Андреевича журнал, а у Вилки дневник. Но долго созерцать то и другое ему не пришлось. Все скоро и окончательно стало директору ясно.

И тут Столетов быстро-быстро заговорил, будто застрочила спешащая с работой швейная машинка. Вилка был у него такой, был и сякой, и дневник нарочно забывал дома или нагло врал своему учителю, что забыл. И выходил младший Мошкин расхлябанным, отсталым, но

злонамеренным дегенератом, возводящим лживый поклев на чистейшего душой преподавателя физики Столетова.

Только и Директор, даром, что старый волк, оказался не лыком шит. Как же так, до сего года Вилка, по предмету круглый отличник, и математичка не нахвалится, и «старый пень» ему всегда симпатизировал, вдруг вышел в дегенераты? И почему его одного единственного Петр Андреевич, судя по записям в журнале, пытал каждый свой урок и непременно на «тройку»? Тут подоспела на выручку Софья Моисеевна, божий одуванчик, преподаватель русского и литературы старого образца, Вилкин классный руководитель. И, всплескивая от волнения сухонькими ручками, защебетала о том, какой отрадой служит для нее послушный и трогательно почтительный паренек, который, между прочим, на ее памяти, ни разу в жизни не сказал неправду.

Директор же Петра Андреевича мало сказать недолголюбил. Он, в свое время намыкавшийся по городам и весям, номерным «ящикам» и бериевским еще «шарашкам», потерявший зубы и здоровье, терпеть не мог маменькиных сынков, уклонявшихся в спецшколах от неудобных распределений. А басни про аспирантуру считал несерьезными. Кабы были у Столетова настоящие таланты, глядишь, и место бы нашлось, это все же МИФИ, а не министерство иностранных дел. Однако при Вилке зарвавшегося физика он песочить не стал. Дал сначала мальчишке выйти, хотя и кивнул на прощание по-отечески сердечно. Чтоб успокоить паренька и заодно дать понять кое-кому, что разговор предстоит серьезный и без дураков.

После сцены у директора внешняя, учебная жизнь Вилки вернулась в свое обычное русло. Столетов на уроках не шпынял и оценки ставил даже нарочито завышенные, но более в комментарии ни своих, ни Вилкиных поступков не вдавался. Вилке же на душе было муторно. И вовсе не из-за доноса. Петр Андреевич по его пониманию сподличал первым, подняв руку на слабого и зависимого, да еще и оболгав его, а Вилка, в общем-то, поступил по закону. Конечно, кое-кто мог бы и сказать, что младшему Мошкину следовало разобраться с обидчиком самому, с глазу на глаз, без ябедничества и вмешательства сверху. Но Вилкина совесть успокаивала и на этот счет. Слишком неравны были силы и весовые категории противников. Ведь и ограбленный на улице прохожий тоже не пойдет сам ловить преступников, вооружившись для острастки кухонным ножом, а позовет на помощь правоохранительные органы. К тому же, Анечкино имя упомянуто не было.

Тошно же Вилке делалось всякий раз, когда он непосредственно встречался с Петром Андреевичем лицом к лицу. И нехорошее было лицо у Столетова. Нет, даже не ненависть к находчивому сопляку читалась на нем. Дело обстояло гораздо хуже. В глазах Петра Андреевича он сопляком более не являлся. Произошедшее будто бы уравнило их в возрасте и правах, и Вилка виделся Столетову совсем не мальчишкой, а настоящей, взрослой угрозой его планам и надеждам. Оттого воевать с ним требовалось не учительскими методами и оценками в дневнике, а грозными, грязными приемами из мира больших людей. Здесь у Столетова было явное преимущество и достаточный опыт. И его тактика требовала жертв.

Вилка будто кожей ощущал колючую, ледяную волну, каждый раз окатывавшую его с ног до головы при одном взгляде на затаившегося и молчаливого до поры учителя физики. Но молчание Столетова длилось не долго.

Хотя Анечка по-прежнему строго соблюдала собственное постановление и в школе гнала Вилку от себя, только полный дурак смог бы обмануться видимой подоплекой ее поступков. Столетов как персона заинтересованная понял это сразу. Как и то, что возможность осуществления его желаний по отношению к девушке при благоденствующем Мошкине мало отлична от абсолютного нуля. Для начала Петру Андреевичу было бы весьма и весьма желательно вывести Вилку из равновесия и заставить совершать непредсказуемые, гневные и оттого глупые и опасные поступки. И тогда Столетов заговорил.

В первый раз Вилка ничего не понял и решил, что, либо ослышался, либо тут же, в школе, внезапно сошел с ума. Но, во второй раз, стоя у доски, и слушая тихий звук голоса Петра Андреевича, обращенный единственно к нему, и ни к кому более в классе, осознал, что война объявлена и даже уже идет.

А говорил Столетов жутко и стыдно. Потому что говорил об Ане. Более не делая ненужной тайны между собой и Вилкой об истинном предмете их разногласий. И всю спекулировал Вилкиной еще почти детской доверчивостью, возводя свои невозможные, мстительные планы в категорию чуть ли не осуществленных вещей.

Вилка и во сне теперь слышал его свистящий шепот, звучавший до того у доски, у учительского стола, на перемене, когда дежурил по классу, и содрогался от смысла и вяжущей грязи слов:

– Что, дружок, натянула тебе нос девчонка? А ты побегай, побегай за ней, – и дальше уже с приглушенным торжеством снисшедший ему Столетов поводил итог:

– Да она тебя знать не желает, дурачок. А со мной переписывается. Листочки в тетрадку: она – мне, я – ей. Хочешь, покажу? Нет? И правильно. Зачем себе зря душу травить. Завтра в кино собрались. «Новые амазонки», польский фильм. Билеты – страшный дефицит.

И все в том же роде. Вилка не знал, верить или нет. С одной стороны, Столетов гад и трепло, и он слишком хорошо знал Аню, чтобы хоть на мгновение заподозрить ее в симпатиях к такому низкому и отвратному существу. Но, с другой стороны, именно потому, что действительно знал подругу слишком хорошо, допускал в ее поведении глупые, самоотверженные поступки, которые Анечка действительно могла совершить ради дорогих ее сердцу людей. И раз уж она столь решительно отстранила от себя Вилку, то вполне могла ради его же безопасности затеять рискованные игры со Столетовым.

Прямо спросить Анечку он не решался. Даже, когда по-прежнему, оставив в стороне ненужное самолюбие, являлся в дом Булавиновых по воскресеньям. И неизвестно, чего Вилка боялся сильнее. Того, что вынудит Аню слушать нечистую ложь, или того, что узнает от нее самой страшную для него правду. И ведь Анечка в любом случае ничего не позволит Вилке предпринять, он добьется только того, что ему в очередной раз запретят вмешиваться в это пошлое и мутное дело. Поделиться с Зулей тоже было никак нельзя. Это не история с дневником, здесь лишний свидетель вреден и не нужен. Тут поединок один на один. И уж с Вилкиной стороны он будет честным. Как бы ни повел себя Столетов, и какое бы оружие ни призвал себе на помощь. При мысли об этом в душе Вилки, против его воли, сам собой закипал неудержимый гнев. И сдерживать его с каждым разом выходило все труднее.

Пока, однажды, в апрельский день рождения Ильича, Вилка невольно не преступил предел.

## Уровень 10. Над Припятью во лжи

Двадцать второго апреля, традиционно и вековечно, в школе имел место ленинский коммунистический субботник. Учителя и ученики, бок о бок, трудились над уборкой школы и территории, сдавали металлолом и макулатуру, чинили школьный инвентарь и предавались иным видам общественно полезных работ.

Девочки из девятого «А», как, впрочем, большинство девочек из других классов, по преимуществу мыли парты и полы, – окна по холодному времени открывать и приводить в порядок пока запрещалось, – убирали столовую и спортзал.

Ребята, само собой, больше проявляли трудовой энтузиазм на открытом воздухе. В углу двора скопилась за зиму изрядная, смерзшаяся куча мусора, требовавшая немедленной эвакуации, необходимы были и рабочие руки для погрузки вторсырья на специально прибывшую машину. Вилка с Зулей и Ромкой Ремезовым вооружились фанерными лопатами и отправились убирать остатки снежной, еще не стаявшей грязи на футбольное поле. К ним добровольно и тоже с лопатой пристроился наблюдающим и руководящим преподавателем Петр Андреевич Столетов.

Вилка появление вблизи себя Столетова воспринял как привычную неизбежность, и сильно удивился бы, выбери Столетов поле деятельности, территориально далекое от Вилкиного местонахождения. Вилка долбил мокрый, упорный в своем сопротивлении сугроб углом лопаты, и обреченно-терпеливо ожидал, когда Петр Андреевич, улучив удобный момент, начнет свое обычное словоблудие. Вилка даже гадал, куда именно в этот раз отправится Столетов вместе с Аней: в театр или в кино? Пару раз Вилке случалось ловить Петра Андреевича на враках, когда в преднамеренном разговоре с Анечкой выяснялось, что она и в глаза не видела тех кинолент, которые, согласно легенде, должна была посещать в компании Столетова. Однако, к Вилкиному огорчению, результат получался иногда и обратным, Анечка действительно смотрела фильм или спектакль, о котором упоминал Петр Андреевич. И ходила Анечка на просмотры без Вилки. Правда, мама ее, Юлия Карповна, была заядлой театралкой, при случае посещала и кинозалы, но, кто знает? И Вилка приходил к печальному выводу, что Столетов местами, конечно, нагло врет, но местами, к несчастью, нет.

А Петр Андреевич Столетов был далек от торжества, как от небесных тел. С Анечкой, говоря современным языком, у Петра Андреевича вышел полный и обескураживающий «облом». Никаких культурных походов и нежных записочек не существовало нигде, кроме его собственного воображения. Более того, каждый раз вблизи девушки Столетов почти физически ощущал некую ауру неприязни с примесью отвращения, нацеленную на его собственную, неотразимую персону. То есть, вопреки своим хитроумным планам, Петра Андреевич получил то, о чем мечтал, с точностью до наоборот.

Уязвленному физику уже не осталось иного выбора, как сорвать накопившуюся горькую злобу на чертовом мальчишке, глупом, доверчивом недоноске, так некстати возникшем на пути его великолепных замыслов. И Петр Андреевич принялся ткать свою изящную, лживую паутину, с фантазией и настойчивостью, действительно заслуживающими лучшего использования. Но постепенно со временем опутанный и замученный сомнениями Вилка словно бы смирился с истекающими на его голову сточными водами, уже не бледнел и не тискал в карманах кулаки, а лишь отстранено и обреченно внимал ежедневным журчаниям Столетова. И тогда окончательно потерявший всякий разум Петр Андреевич обрек себя на опасную и непредсказуемую в последствиях крайнюю меру, рассчитанную на гарантированное выведение противника из себя. Он решил перейти от сказок о театрах и кино к рискованным и порочным в намеках сценариям возможного обладания им девушкой Аней как таковой. И замысел свой, не откладывая в долгий ящик, начал приводить в исполнение на футбольном поле ленинского труда.

– Как ты думаешь, Мошкин, девочка Аня любит шоколадные конфеты? – зашипел привычно-осторожно Столетов чуть ли не в самое Вилкино ухо, продолжая при этом равномерно и рядом махать лопатой. – А может она и шампанское любит? Ты не в курсе, само собой. Впрочем, это можно легко проверить. Например, сегодня вечером.

Вилка, как и рассчитывал Петр Андреевич, ошалело покосился в его сторону. Но промолчал. Петр Андреевич же, перехватив вдох, продолжил:

– Да, да, вечером, у меня дома. Видишь ли, так уж вышло, у моей мамы есть друг, и как раз именно сегодня она очень захотела его навестить. А ты знаешь, что такое друг одинокой женщины? Это когда навешают обычно до утра. Ты никого еще не пробовал навешать до утра?

К несчастью, Вилка понял все, что хотел сказать ему Столетов, и волосы у него на голове приподняли вязанную шапчонку на добрый сантиметр. В руках у Вилки была лопата, и хорошо, что не железная, ибо он почувствовал непреодолимо желание употребить ее не по назначению. Потому что стена уже стояла впереди него и страшно манила к себе тусклой чернотой. «Уж лучше фанерой по башке», – решил про себя Вилка, понимая, пусть будет, что угодно, только не это. Зуля, по правую руку от него соскребавший грязь с бортика ограждения, тоже вдруг остановил свой созидательный энтузиазм и с тревогой искоса поглядел на Вилку. Слов Петра Андреевича он, конечно, слышать не мог, но по грозовой насыщенности самой обстановки, и главное, по уже однажды виденному им в нехороших обстоятельствах выражению Вилкиного лица, Зуля Матвеев почуял неладное. Поэтому остановился, опираясь на черенок своего фанерного монстра. А вот Столетов остановиться не захотел, или уже не мог.

– Что ж ты, дружок, приуныл? Тебя забыли пригласить? Ты уж извини, но это дело на двоих. Удивлен? А не надо, не надо, – хохотнул все тем же шепотом Петр Андреевич, отчего смех его прозвучал особенно погано. – Я позвал, она сказала «да». Прямо роман. Ну, ничего, придет и твой черед. Только не с ней, и уж точно не сегодня.

Столетов еще что-то в том же духе свистел Вилке в ухо, но это уже не имело никакого значения. Вилка потерял контроль над «управлением полета», и, не соображая до конца, что именно он делает, ринулся вперед на стену. Говорят, что некоторые люди обладают врожденной способностью накапливать знания и опыт в экстремальных ситуациях чуть ли не с самой первой попытки. В отношении Вилки это мнение вышло на сто процентов верным. На уровне инстинктов вспомнив жгучую, рвущую боль при прохождении черной преграды, Вилка уже не стал врубаться в стену головой. А на полном, мысленном ходу пронзил ее плечом вперед, словно оперативник, мужественно выносящий дверь, за которой скрывается вооруженный преступник. Боль пришла немедленно, но совсем не такая сильная и ломающая, как это было в случае с «инопланетянином». И это приятное обстоятельство и размышление о нем тут же привели Вилку в чувство. Ну, уж дулюшки, осадил себя Мошкин, никто никого сегодня не убьет. И все, и точка. Надо срочно выбираться назад. К тому же здесь, за стеной совсем не пикник, и башка все-таки изрядно трещит.

За стеной, как и в тот памятный единственный раз, кружилась с тоненьким воем угольно черная спираль. Страшная и завораживающая. Вилка попятился и уперся спиной обратно в стену. Его моментально ожгло ледяным огнем и отбросило прочь. Вой спирали усилился, и верчение ее стало более быстрым. С перепугу Вилка кинулся на черную толщу стены всей своей бешеной от нараставшего ужаса массой, но все равно никуда не прошел, только получил очередной болевой разряд. Пение спирали сделалось еще визгливее, и угольные линии закружились подобно урагану. В тот же момент Вилке понял как дважды два и непонятно откуда, что он не выйдет прочь, пока не исполнит ту часть обряда, ради которой он собственно и ломился за мрачную преграду. Но что сказать и пожелать ему не приходило на ум. Ненависти к Столетову он уже несколько не чувствовал, напротив жалел дурака, вздумавшего заигрывать с огнем. Надо было срочно придумать нечто такое, что открыло бы Вилке дорогу назад, и в

то же время позволило бы Петру Андреевичу в целости и сохранности здравствовать далее. И решение нашлось.

«Чтоб тебе сгореть в аду!», – мысленно четко произнес Вилка и тут же шагнул к стене. Темная гладь немедленно выпустила его в нормальный мир. Вилка вдохнул, словно вынырнувший на поверхность ловец жемчуга, огляделся вокруг. Столетов все еще журчал сливными отходами, так и не поняв, мимо чего его только что пронесло. И видимо, был доволен Вилкиной реакцией на свои журчания. Но Вилка на это клал с прибором. Зуля, тихо подошедший сбоку, ткнул его ручкой лопаты под ребра. Посмотрел вопросительно. Вилка улыбнулся другу и отрицательно покачал головой. Вид у него был довольный, хотя бледный и немного болезненный. Еще бы он не торжествовал! Побывал за стеной и справился с ней, выиграл сражение. Значит, может, значит, молодец! И как тонко он обвел вокруг пальца то неведомое, что настойчиво и безжалостно не позволяло ему, презрев черное могущество, бежать прочь. «Гореть в аду! Ха-ха!» – Вилка улыбнулся наяву, чем жестоко пресек Столетовские излияния. Петр Андреевич на полуслове так и замер с открытым ртом, как изумленный соляной столб. Ну что ж, если ад и в самом деле существует, физика Столетова на закате его бытия встретят там с распростертыми объятиями. Если же ада нет, что скорее всего, то Вилкино пожелание не более, чем пустое сотрясание воздуха. И сознание победы вдруг подтолкнуло Вилку на неожиданное действие. Он весело отбросил в сторону деревянное орудие труда, подмигнул вконец обалдевшему Петру Андреевичу, и зашагал прочь, по направлению к школьному корпусу.

В «столовке» он довольно быстро разыскал Анечку, старательно драившую с порошком подоконник, деловито и непререкаемо оттащил ее в дальний угол и спросил:

– Правда, что у тебя вечером свидание со Столетовым?

И тут же получил мокрой, божественно пахнувшей «Лотосом» тряпкой по физиономии. И счастливо рассмеялся. Анечка, еще пару секунд постояв в образе рассерженной львицы, расхохоталась вслед за Вилкой.

– Ну, за что же ты такой малоумный? Глупый, отмороженный Иван-дурак. У тебя уже уши отвисают от лапши, не замечал? – сквозь смех выкрикивала Анечка, отводя душу.

– И в кино ты с ним тоже не ходила? И в театр? – подзадоривая и просто на всякий случай, хитро спросил Вилка.

– Представь себе, даже в цирк не ходила. Вот безобразие! – Анечка захохотала так, что остальные девчонки в столовой, побросав работу, уставились на нее и на Вилку.

А глупышка Торышева, откинув в сторону стул, который только что терла тряпкой, подбежала с криком:

– И мне! Мне тоже расскажите смешное! Новый анекдот, да?

Вилка не стал ее разубеждать, и немедленно выдал анекдот, достаточно взрослый и двусмысленный, про пьяницу и постового милиционера. Торышева, удовлетворенная и повеселевшая, вернулась к своему стулу. А Вилка, уверенный, как никогда прежде, взял Аню за влажную и холодную от уборки руку.

– Больше не смей от меня бегать! Никогда! – властно, будто шах в гареме, произнес Вилка. – А со Столетовым я разобрался сам. Надо будет, еще раз разберусь. И не только с ним. Может, я и дурак, но ни в коем случае не слабак. Запомни.

Вилка сказал и сам собой загордился. Это уж точно была лучшая речь в его жизни. Анечка тоже его поняла, ничего не ответила, только опустила глаза, а руку, между прочим, не отдернула, оставила зажатой в Вилкиной пылающей ладони. Впрочем, может, у нее просто замерзли пальцы от холодной воды. Но Вилка не прочь был выступить и в роли обогревательного устройства. Из «столовки» он вышел, пошатываясь от головной боли и от счастья, и у входа наткнулся на Матвеева.

– Ты чего здесь? – спросил он у Зули.



– Это опять было? – вопросом на вопрос ответил Матвеев. Что «это» Зуля уточнять не стал, но по его отягощенному страхом лицу Вилка и без того понял, о чем идет речь.

– Нет. Нет, ничего не было. Я хотел, но устоял, – он немного солгал другу, но вовсе не из хвастовства. Просто до ужаса не хотелось объяснять несусветную, стыдную глупость с пожеланием гореть в аду, детскую и наивную, совершенную им за стеной, да и пожалел он Зулю. Не имело смысла добавлять страху и в без того напуганные Зулины глаза повествуя о том, как он, Вилка все же не удержался и преступил черту. К тому же ничего страшного не произошло, он благополучно вернулся назад, исцеленный от ненависти и наученный опытом. И Вилка, чтобы успокоить Зулю совсем, сказал:

– Перестань, ты же видишь, со мной все в порядке. Я не болен и не в отключке, а на своих ногах. И, между прочим, помирился с Аней.

Зуля облегченно заулыбался, закивал, сразу пошел себе довольный обратно к футбольному полю и скупающей лопате, даже не дожидаясь Вилку, которому надо было еще посетить уборную и смыть с лица остатки «Лотоса».

В этот раз Вилка почти не болел. Два дня немного ныла голова, и слегка подташнивало по утрам как беременную женщину. Но все это не шло ни в какое сравнение с тем, что ему довелось пережить после гибели Борьки Аделаидова. Самое же главное счастье заключалось совсем даже не в примирении с Аней, причем именно на Вилкиных условиях, а в том, что Столетов был все еще жив и ни от чего помирать явно не собирался. Несчастный Борька погиб спустя несколько жалких минут после выхода Вилки из страшного, застенного пространства. Актер был умерщвлен огнем тут же, на месте. Петр Андреевич Столетов ходил, пусть унылый и недовольный, но здоровый и вполне живой, уже три дня. Более того, сегодня, на этот самый третий день, он отбывал в недельный отпуск аж до второго мая. И директор милостиво, за счет Столетова, этот отпуск разрешил, пригласив на временную замену их «старого пня»-пенсионера. Вилка ждал ворчливого старика, чуть ли не как родную мать. Вот уж верно, что все на свете познается в сравнении.

По школе разнесся вполне достоверный слух, что поездка Петра Андреевича имела под собой определенную подоплеку. Столетов, по причинам для Вилки вполне понятным, с будущего года решил сменить работу. Один хороший друг в ответ на запрос пригласил его погостить и заодно переговорить о вакантном месте с начальством. Друг, устроивший смотрины, тоже выпускник МИФИ, работал на атомной станции, был специалистом по урановым котлам, и даже пообещал Петру Андреевичу на следующий день по приезду, в свое ночное дежурство, выбить пропуск и провести для Столетова небольшую экскурсию по будущему месту работы.

Петр Андреевич отбывал нынче после обеда самолетом до Киева, а там автобусом до скромного, но вполне благоустроенного украинского городка со смешным названием Чернобыль, где и располагалась атомная энергостанция.

На дворе стояло двадцать пятое апреля тысяча девятьсот восемьдесят шестого года.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Дум-дум-дум – дум!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! А-а-а-а!!!

Огромная страна узнала обо всем и содрогнулась паникой только неделю спустя. Атомный вихрь накрыл не просто землю, но и сознание сотен миллионов людей по всему шарообразному миру. Страшное событие именовали единственным словом. Катастрофа.

И лишь один человек на планете догадывался против собственной воли и желания, что катастрофой воистину стало Слово.

Первого мая Вилка, легкий и по-новому беззаботный, шагал в школьной колонне на районной первомайской демонстрации, и, как самый высокий в классе, нес на палке плакатный портрет генсека Горбачева. Рядом шла Анечка и иногда, когда Вилка позволял ей такие труды, немного несла портрет тоже. А после демонстрации он и Аня, и Матвеев, куда же без него, отправились в гости к Вилке. Так он захотел и настоял. Раньше он избегал встречаться с Анечкой у себя дома, опасаясь ненужных замечаний Барсукова, но ныне Вилке любое море было

по колено. Тем более мама давно и настоятельно уговаривала Вилку как-нибудь пригласить Анечку к ним домой, да и бабушка Глаша тоже хотела посмотреть на легендарную подружку внучка. Барсуков в последние дни вел себя как примерный пионер-герой, видимо нынешний, постлестенный Вилка внушал ему беспокойное и непонятное уважение. Словом, Викентий Родионович приглашение Анечки одобрил тоже, особенно имея в виду последние успехи ее отца, на удивление скоро и гладко защитившего кандидатскую диссертацию и получившего под начальство целый научный отдел, да еще, стараниями академика Аделаидова, папа Булавинов зачем-то был избран депутатом в измайловский райсовет. Барсуков даже не стал скупиться на стол и чрезмерно кусочничать, разрешил жене и теще пожертвовать банку красной икры, виданное ли дело, хотя черную на растерзание гостям выдать не пожелал.

А на следующий день, второго числа, Вилка отправился с ответным визитом к Булавиновым, с какой-то особенной банкой варенья из фейхоа, на его вкус жуткой гадостью, презентом от Людмилы Ростиславовны Юлии Карповне. Дома оказались только женщины Булавиновы, самого же главу семейства срочно по телефону с раннего утра вызвали в райсовет без объяснения причин.

– Опять небось дежурные электрики перепились, и в районе авария. Праздники, известное дело. Однако при чем здесь Паша? – жаловалась вслух Юлия Карповна.

– Совсем совесть потеряли, людей по выходным мучают, – ворчала бабушка Абрамовна.

Тем не менее, к обеду папа Булавинов вернулся домой. И не было на нем никакого лица. Белый и грозный, как горный ледник, он сел за стол, даже не вымыл руки, и так сидел, отстраненно глядя в тарелку с великолепным куриным бульоном, и ничего из нее не ел.

– Боже, Паша? Что случилось? Тебя уволили? – спрашивала осторожно Юлия Карповна.

– Сынок, кто-то умер? Кто-то, кого мы знали? – искала другие несчастливые причины бабушка Абрамовна.

Но папа Булавинов оставался нем и глух.

– Папа, ну, скажи папа, тебе плохо? Опять был приступ, да? – Анечка не выдержала и, вскочив со стула, бросилась к отцу на грудь, теребя его за плечи, и тормоша за волосы. – Папа, ну, ответь папа? Что случилось?

Булавинов под ее руками словно очнулся ото сна и сказал:

– Беда, доченька, стряслась. Большая беда, – а потом, окончательно придя в себя, сказал уже всем:

– Скоро будет официальное заявление в новостях. Надо включить телевизор.

– Господи, неужто, война! – заголосила неожиданно бабушка Абрамовна. Юлия Карповна ахнула, прижала к губам салфетку.

– Почти что, – безжалостно ответил папа Булавинов, – авария на атомной станции. На Украине, неподалеку от Киева. Несколько дней назад. Пока это скрывают, но радиоактивное облако накрыло чуть ли не треть республики, Белоруссию тоже задело. Идет тотальная эвакуация. Завтра проведу экстренное собрание в институте. Надо создать консультативный совет помощи. На станции до сих пор пожар. Атомный пожар. И не могут потушить. Там настоящий ад.

Вилка слушал папу Булавинова с детским ужасом, никак пока не отождествляя случившееся с реальностью. Даже само слово «ад» не заставило встрепенуться его память, только вызвало непонятное томление в груди.

И лишь через несколько дней, заполненных потоком ужасающих газетных и теленовостей, он смог связать в своем сознании постоянно звучащее слово Чернобыль и школьное, из-под полы передаваемое известие, что физик Петр Андреевич Столетов героически погиб от огня и радиации в числе жертв из дежурного персонала четвертого энергоблока станции в ночь катастрофы. В аду.

Проклятие сбылось, желал того Вилка или нет. Хотя, некоторое, очень короткое время, Вилка уверял себя, что он здесь лишний и совершенно не причем. Ни в коем случае не мог он быть вновь виноват в гибели и неслыханных несчастьях безумного количества опять ни в чем не повинных людей, потерявших в одночасье свою жизнь, жизни своих близких, свои дома и собственное будущее. Да и ненависть, толкнувшая его за стену, была направлена лишь на одного единственного человека. За что же пришлось пропадать остальным? Да разве случилось когда, чтобы вихрь, белый или черный, затронул кого-нибудь другого, кроме той персоны, которой непосредственно предназначался?.. Было. В том-то и дело, что было. Как же он, тупой вурдалак, запамятовал, что в день гибели «инопланетянина» вместе с академикovým сыном погиб и сбивший его парнишка-мотоциклист! А Вилка его знать не знал, и в глаза никогда не видел!

Вилке стало совсем нехорошо, хотя казалось, куда уж хуже. Что же за дьявольские силы выпускал он за стеной гулять на свободе? Силы эти совсем и не думали понимать буквально, что именно заказывал им Вилка, а жили сами по себе и со своей, зловещей, колокольни трактовали его приказания. Да полно, приказывал ли он им? Он, пленник, не имевший воли даже покинуть их по собственному желанию, пока эти неведомые владыки потустенного мира не получали от него, Вилки, желаемого. Он просил ад для Столетова, что ж, они устроили ему ад. Настоящий, не библейский, ад прямо на земле. Быть может, они радовались его наивной глупости, давшей им шанс вырваться наружу во всей красе, разгуляться и загубить уйму живого себе на потеху. А Вилка служил для них жалким катализатором, несчастным идиотом, которому случайно досталась лампа с бешеными джинами, и он, дурак такой, взял ее, да и открыл. Да еще радовался тому, какой он умный и находчивый.

Первые недели Вилка ходил сам не свой... Какое там, ходил! Влачился по земле пришибленной гусеницей. Сначала даже подумывал о различных способах самоуничтожения, как бы в искупление вины и еще от невыносимости жуткого груза, рухнувшего на его душу. Но умирать получалось теперь все равно бессмысленно. К этому времени Вилка уже верил в Бога. А, следовательно, и в черта тоже. Нет, не так. Сперва, он, собственными глазами, увидел черта, а потом уже уверовал и в Бога. Ведь невозможно же было в здравом уме допустить, что дьявол вот он есть, а в противовес ему никого не существует. Только Богу он, Вилка, теперь и задарма не нужен. Черт, он, пожалуй, его бы принял, да еще и наградил, как лучшего труженика пятилетки. Так что отправляться Вилке на тот свет нынче не выходило никакого резона.

Из-за поселившихся внутри него пришибленности и помрачения ума, что логичные взрослые объясняли излишней юношеской впечатлительностью, Вилка не замечал ничего вокруг. Что Анечка тут же все поставила на свои места, и Вилка вновь превратился в опекаемого младшего братика, было еще малой бедой. А вот с Зулей дело обстояло скверно совсем. Бедняга чувствовал себя, как сапер, проводящий тренировку на учебной mine, а она возьми, и окажись настоящей. Подробностей Зуля не знал, выпрашивать у теперешнего Вилки опасался, но смерть Столетова случайной счесть не смог. И чувство ненавязчивого, уважительного страха по отношению к вчерашнему другу, внутри Матвеева легко трансформировалось во всеохватный ужас. Дней десять Зуля сторонился бывшего приятеля, потом перепугался собственной смелости, могущей выйти ему боком, и счел благоразумным сделать вид, что, ни о чем не догадался, и ничего вовсе не произошло. Слава богу, – успокаивал себя Матвеев, – Вилке в эти дни вроде было не до него, и он вряд ли заметил Зулино временное отступничество. Тогда Зуля решил, что пусть все пока идет, как идет, но при первой же возможности он оставит между собой и Вилкой Мошкиным по возможности как можно более препятствий и километров. И сделал хорошую мину при плохой игре.

Вилка ничего этого, само собой, не знал. Да и вообще Зулю, занятый своими скорбными мыслями, не видел в упор. Он уже ходил и к папе Булавинову и во многие организации, просился допустить его на станцию хоть в каком качестве. Хоть кашеваром для пожарников, хоть в

похоронную команду, хоть куда. И естественно, везде встречал невежливый отказ. Но не сдавался. Затем наступили летние каникулы, и времени на ходьбу по инстанциям у Вилки было хоть отбавляй. Папа Булавинов сочувствовал, говорил Вилке хорошие слова, от которых тому делалось особенно тошно, но помочь не мог, даже если бы и хотел.

Помощь пришла неожиданно. От Танечки, которой Вилкина мама, Людмила Ростиславовна, пожаловалась на неугомонное прекраснотворение сына и собственную боязнь того, как бы ее впечатлительный, жалостливый мальчик самовольно не сбежал в мертвые Чернобыльские пространства. И Танечка нашла наилучшее решение. Вилке было отныне разрешено помогать в роли то ли санитаря, то ли мальчика на побегушках в одной из московских больниц, куда поступали облученные радиацией чернобыльские спасатели. Анечка, добрая душа, тут же заявила, что пойдет работать в больницу вместе с Вилкой. А Матвеев просто побоялся остаться в стороне. Танечка добыла разрешения и для них.

То, что Вилка увидел и услышал в клинике, прибило его окончательно. Всей его будущей жизни не хватило бы, чтобы расплатиться за то, что он натворил. Но Вилка рвался и делал, что мог. По больнице среди врачей и пациентов уже гуляли легенды о странном парнишке из лучевой терапии, безотказном днем и ночью, невзирая на опасность вторичного заражения, менявшем судна и простыни, и даже, вопреки строжайшим запретам и правилам, следившем за капельницами и приборами сутками напролет не хуже опытных медсестер. И в конце лета главврач, в виде примера и просто, будучи не в состоянии игнорировать такой фантастический энтузиазм, вручил юному санитару почетную грамоту министерства здравоохранения и благодарность не больше, не меньше, как от городского комитета комсомола. Вилку обе маразматические бумажки словно обухом огрели по голове, и он, наконец, очнулся.

Разум его как бы пришел в себя, и теперь уже не только страдал, но и начал потихоньку соображать. Зуля и Анечка, как всегда, были рядом, и это было хорошо. Но бедному Зуле он отныне обречен до конца дней своих лгать, и это было плохо. Нельзя иметь друга на половину, но и перекладывать свой мрачный груз на Зулины плечи Вилка не считал себя вправе. Пусть спит спокойно и собирает вырезки про Рафаэля Совушкина. Ох, если б он знал, как заблуждался на Зулин счет. Матвеев уже ни в каком приближении не считал Вилку своим другом, а только радовался тихо тому обстоятельству, что до сих пор жив и ничем не умудрился прогневать то неведомое, зловещее отродье, которое он осмелился чуть ли не на равных когда-то записать себе в приятели.

## Уровень 11. Пойдешь налево...

Свой последний школьный год Вилка намеревался провести в трудах и раскаяниях, словно Иван Грозный, вовремя одумавшийся и велевший постричь себя навечно в монахи. Отношение в самой школе было к нему неоднозначное. Его летние больничные подвиги и полученные за них, настоящие взрослые награды не могли никак остаться незамеченными. Со стороны дирекции и учебной части внимание к Вилкиной особе с впечатляющей скоростью преобразилось из приятного удивления в излишнее и слегка показное славословие. Вилку спешно ввели в состав школьного комитета комсомола, то и дело засылали делегатом на районные активы и конференции. Со смирением принимая насмешку судьбы, как непрременную, заслуженную им кару, Вилка, страдающий и покорный, ходил на все общественные мероприятия и даже заставлял себя произносить требуемые речи. Порой он сетовал на то, что мучения его случались недостаточно сильными, а стыд и боль от похвал иногда теряли свою остроту.

Одноклассники, кроме Анечки и Зули, в которых Вилка видел почти родных, большого восторга от его общественно-полезной деятельности не выражали. Не то, чтобы досадовали или завидовали, но и всю шумиху вокруг Мошкина считали излишней. По словам Ромки Ремезова, тоже и Вилке «не фиг было корчить из себя клоуна». Ну, выносил горшки, подумаешь, не реактор же тушил. Молодец, конечно, но, как говорится, не всем дано. Вот он, Ромка, к примеру, лучше со временем выучится, и сам будет проектировать такие станции, да не халтурные, а твердыни энергетики. Чтоб ничто не взорвалось и не сломалось неведомо от чего. Да и как это так может быть, громогласно вопрошал староста Ремезов, чтоб рвануло с бухты-барахты, и система защиты и затопления реактора, надежнейшая в мире, вдруг взяла и ни с того, ни с сего отказала. Фантастика.

А Вилке в свою очередь Ромкины выводы и разглагольствования только добавляли седых волос, добивая и без того дышащую на ладан надежду, что может смерть Столетова и катастрофа на АЭС только случайные по времени совпадения. Что он всего лишь отправил в район будущего бедствия неудачника-физика, а собственно авария состоялась бы и без его, Вилкиного участия. Как будто атомные станции на планете взрывались чуть ли не каждый день! Вилка и сам понимал, что утешать себя глупо. Да хоть бы гибель Петра Андреевича считалась единственной на его совести, разве ж это меняет дело? Столетов, между прочим, как и покойный Борька, был единственным ребенком в семье, и смерть Петра Андреевича вышла страшным ударом для его пожилой мамы, потерявшей отныне и навсегда всякий смысл своего существования.

В Вилкины настроения, чем дальше, тем больше вплетались мотивы, кои более бы подошли для образа мысли и состояния оптинских старцев. То он желал посыпать прилюдно голову пеплом и каяться, а после с чистой совестью дать увезти себя в Белые Столбы. То рвался благодетельствовать всему человечеству без разбора, но не очень представлял как. Время в своих отношениях с Аней Булавиновой он, конечно, безнадежно упустил, окончательно представ в ее глазах таким современным, хотя и менее экзальтированным, князем Мышкиным. Только-только удалось ему заставить Анечку хоть немного взглянуть на некоего Вилку Мошкина иным манером, зажечь крохотный огонек романтического интереса, и вот, все пошло прахом. Но Вилка и этот факт принял как должное и неизбежное наказание. Не заслужил он Анечку, да и не скоро заслужит, если будет искупать свою вину такими темпами.

Дома Вилка отныне непрестанно проливал блаженный нектар на нежную душу Барсукова. Потому как Викентий Родионович, поначалу скептически настроенный в отношении Вилкиной добровольной санитарной службы, очень скоро понял, что недооценил пасынка. Тут же, как только Вилка с унылым видом приволок домой обе благодарственные грамоты. И даже утешительно потрепал мальчугана за волосы, мол, не расстраивайся, пока бумажки, а дальше

может еще чего дадут. И как в воду глядел. Вон, пасынок уже и в комсомольские лидеры выходит, а это значит и характеристика, и рекомендации будут соответствующие. Значит, ошибался Викентий Родионович, и Вилка не так прост и ему многое надо. Оттого Барсуков повеселел душой. И с долгим занудством принялся рисовать перед Вилкой радужные перспективы, которые в будущем непременно откроются перед смышленным комсомольским активистом, а если Вилка, как и планировалось, будет учиться на факультете Викентия Родионовича, то и он Барсуков, не останется в стороне, поможет, чем сможет. Как не порадеть родному человечку?

Вилка слушал Барсукова без малейшего раздражения и протеста, и более того, согласно кивал и говорил слова, которые ждал от него повеселевший отчим. И легче делалось Вилке на сердце от того, что весел был Барсуков. А ведь некогда он еще смел осуждать Викентия Родионовича за крохоборство и лицемерие, говнистые интриги и мещанскую обывательщину! Это Барсукова-то, который, если разобраться, в жизни своей мухи не обидел, разве что доставлял мелкие неприятности студенческой братии. На крупные у него сроду смелости не хватало. А что тащил в дом, все, что плохо лежит, как хомяк в нору, так для кого он, спрашивается, старался? Для себя одного? Да они с матерью при нем никогда не знали, что значит стоять в очередях за продуктами, или считать копейки до зарплаты. Вилке при мысли об этом делалось вовсе стыдно. Тварью неблагодарной ощущал он себя. Да, Барсуков не очень щедро кормил гостей, не давал в долг даже соседям по лестничной клетке, дефицитные продукты отмеривал понемногу, чтоб не съедали всего сразу. А сам-то Викентий Родионович, – неожиданно спохватился Вилка, – ту колбасу и разнообразную икру почти что и не ел вовсе! Все ему и маме, вот так-то. Пусть дурак, пусть нудный, тяжелолазый скудоум, но, если кому и судить Барсукова, так уж точно не Вилке. Особенно теперь. И Вилка в очередной раз вечером за ужином, вздохнув про себя, будто отшельник, примеряющий чугунные вериги, просил отчима поведать ему новости внутренней и внешней политической обстановки, чтоб не дай бог не опростоволоситься на бюро комсомола. Викентий Родионович расцветал маковым цветом и немедленно, даже не прожевав жаркое, начинал выплетать словеса.

Новая беда пришла, не заставив себя долго ждать, после ноябрьских каникул. Как будто Вилке совсем немного не хватало до состояния окончательного «аута», и судьба решила его не томить и подкинуть последнюю соломинку на спину верблюда. Несчастье, однако, касалось не самого Вилки, и к нему, к несчастью, Вилка определенно и уверенно не имел ни малейшего отношения, все уж было сделано до него ранее.

В ноябре папа Булавинов лег в страшный онкологический центр с бесперспективным диагнозом «острая лейкемия». Надежды не было не только на его выздоровление, но даже на то, что Павел Миронович Булавинов встретит ближайший Новый Год.

Не в воскресный вечер, а в самый обычный рабочий четверг Вилка сидел на диване в проходной, гостиной комнате у Булавиновых. Рядом с Анечкой и Юлией Карповной. Бабушка Абрамовна, с великими трудами напичканная успокоительным, заснула, наконец, в соседней спальне. Хотя дверь была плотно закрыта, заземленная для надежности кухонным полотенцем, все равно Вилка слышал, как время от времени бабушка всхлипывает во сне. А Юлия Карповна не плакала. Никакие отрешенности и отчаянья не захватили собой ее лица. Она говорила и жила ровно и спокойно. Как о повседневных, обыденных вещах сообщала Вилке, что именно сказали ей врачи сегодняшним утром. И от ее спокойствия Вилке делалось особенно жутко. Это напоминало по ассоциации провидческое, нехорошее равновесие смертника в предбаннике неизбежной газовой камеры нацистского лагеря.

– Мы будем дежурить по очереди. Я с утра, Анюта вечером. По выходным наоборот. Отпуск мне дадут, главврач заявление подписал. Клиника хорошая, но все равно. Нам теперь надо быть с Пашей. И Константин Филиппович обещал помочь. Я звонила ему сегодня. Он расстроился сильно, – Юлия Карповна говорила так, будто старалась попасть в ритм с неведомым метрономом.

«Константин Филиппович, это кто еще такой?» – спросил про себя Вилка, но тут же вспомнил. Так, если память его не подводила, звали академика Аделаидова. От Анечки уже Вилка знал, что иногда, а в последнее время все чаще Юлия Карповна звонит академику не зачем-нибудь, но просто для общения, чтобы старик не чувствовал себя одиноким и ненужным. А в преддверии праздничных дней даже навещает с пирогами и отчего-то всегда с бутылкой крымского портвейна. Видимо, в представлении Юлии Карповны, пожилые деятели науки и хороший портвейн были неразрывно связаны загадочными нитями.

– Мама, ну чем Аделаидов нам поможет? Он же не волшебник, – сказала Анечка, и странно, с вызовом посмотрела на мать.

– Доченька, Константин Филиппович многое может. Препараты нужные достать, об отдельной палате договориться, да, мало ли что еще. Ты вспомни, сколько он всего из-за границы привозил. Может, благодаря его лекарствам папа и дожил до сегодняшнего дня?

И тут Аня закричала. Вилка ничего подобного от нее в жизни не слышал, и предположить не мог, что его Аня может кричать такие слова:

– Пусть в задницу себе засунет свои лекарства, и ты тоже засунь! Папу нельзя вылечить, понимаешь ты, нельзя! – Аня перевела дух и снова стала кричать. Ее никто не останавливал, Юлия Карповна и Вилка лишь слушали в ошолоблении. – Чего вы хотите все? Чего? Чтоб он дольше промучился? Чтоб валялся на сраной больничной койке, весь истыканный иглами, и каждый лишний день позволял нам снова его хоронить? Ты, я, академик, Вилка, будем шлаться в эту чертову клинику и будем его хоронить! И папа будет это знать, и ненавидеть остаток своей жизни! Забери его домой, пусть умрет здесь. Пусть папа умрет на своей кровати! Может завтра, но на своей кровати!

– Анюточка, девочка моя, ну что ты говоришь? Так нельзя, – Юлия Карповна сумела не зарыдать, но голос ее дрожал, – нельзя отбирать у людей надежду, особенно если она последняя. Папина жизнь, она ведь не ему одному нужна. Как же я? Как же ты? Хоть один лишний день его увидеть, прежде чем попрощаться навсегда.

Аня больше не стала кричать, ответила матери спокойно и зло:

– Что ж вы ввали? Ты и папа. Забивали мне голову своим Платоном и вечными душами. Учили меня смеяться над смертью и не бояться. И сами смеялись вместе со мной. Чего ж теперь никому не смешно? А? Вот вам чаша Сократа, вот вам повод для веселья. Давайте устроим застолье, папа выпьет и счастливо отойдет в мир иной, как древний грек. А мы будем радоваться и ждать, когда отправимся вслед за ним, заодно и самосовершенствоваться. Разве не так должно быть?

– Анечка, доченька. Я не знаю. Я уже не верю в это. Мне страшно, – Юлия Карповна, наконец, не выдержала, всхлипнула, приняла слезы в рукав халатика. – У меня такое чувство, что это навечно. И никакого бога нет. Вообще, там ничего нет. И папу мы не заберем. Мы побудем с ним еще. Как и он с нами.

Вилка слушал Аню и Юлию Карповну и не позволял себе ни слова, хотя женщины сидели от него по разные стороны, и весь разговор шел собственно через Вилку. Он только мысленно сказал себе, что Юлия Карповна очень сильно ошибается, полагая, что ТАМ ничего нет. Кто-то, а уж Вилка своими глазами видел, что ТАМ есть много чего. Да разве существует ТАМ хоть какая-то польза для папы Булавинова и можно ли ее разыскать? И Вилка понял, что можно. Нужен всего-то вихрь удачи. Вызвать его и пожелать, чтобы Павел Миронович Булавинов выздоровел и жил долго и счастливо много лет. Но если одного вихря будет недостаточно, то он, Вилка, всегда рядом и всегда сможет напитать удачу новыми силами. Главное, спасение Анечкиного отца станет той малой крохой искупления, которая, возможно, немного перевесит чашу весов в Вилкину пользу.

Вернувшись домой, Вилка в тот же вечер приступил к исполнению задуманного. Задача оказалась ему проще пареной репы, учитывая все ее исходные данные. Если уж безусловно

посторонние и никак не связанные с Вилкой персонажи из Альбома получали от него удачу полным комплектом, то вызвать вихрь для папы Булавинова будет легче легкого. Взять, к примеру, Танечку. Конечно, ее Вилка знал и любил с детских лет, но и Анечкиного папу он жалел теперь ненамного меньше, симпатию же к Павлу Мироновичу он испытывал всегда, просто выражать сильные чувства по отношению к взрослому, близко знакомому мужчине казалось Вилке неуместным. Зато теперь этим чувствам пришло самое время. И Вилка изо всех сил, уже лежа в кровати перед сном, начал восхищаться Булавиновым. Мужественным, умным, честным, добрым, больным и, самое важное, Анечкиным папой.

Ничего не вышло. Ни ночью, ни утром, ни на следующий вечер. Вилка жалел папу Булавинова, иногда чуть ли не до слез, но все было впустую. Вихрь возникать не желал, и причину своего нежелания пояснить не соизволил. Тогда Вилка решил, все дело в личном контакте и, с маминого разрешения, напросился с Анечкой дежурить в палате. Непонятно, обрадовался ли этому обстоятельству папа Булавинов, слишком слабый и утомленный недугом, чтобы выражать бурные эмоции, но Анечка заметно приободрилась, узнав, что Вилка все дежурство до утра будет рядом.

У Вилки было полно времени. Папа Булавинов давно спал, Анечка тоже вскоре задремала на стуле, положив голову на край постели в ногах у отца. А Вилка приступил к созерцанию. Созерцал он долго, жалел Павла Мироновича куда сильнее прежнего, жалел и спящую Аню, но тем дело и ограничилось. Вихрь объявил Вилке забастовку.

Не желая сдаваться и признать свое поражение, Вилка сделал еще две попытки и провел в палате еще две бессонные ночи. С тем же успехом. А после, окончательно проигравшись, кинулся за помощью к Зуле.

Матвеев, вновь узрев на собственном пороге свой Дамоклов меч, взмыленный и жаждущий нечто ему поведать, испытал двоякое чувство. С одной стороны, без Вилки ему, безусловно, существовалось на белом свете лучше не в пример, но вот с другой стороны! С другой стороны, благоразумный страх вещал Зуле иное. Мало ли кого еще вздумается чудовищу прибить посредством окаянного вихря, и неизвестно, в каком месте грянет гром, и сколько случайных жертв ляжет неподалеку. Вдруг, он, Матвеев Зуля, сам того не зная, окажется в районе бедствия? Нет уж, лучше быть в курсе и поближе к виновнику торжества. Главное, не стать мишенью, но это, зная Вилкин незлобивый нрав, казалось Матвееву несложной задачей. Эх, кабы ему для гарантий обезопасить себя вихрем удачи! Но, как назло, столь сильных любвеобильных чувств его личность у Вилки не вызывала. Может быть, разве что со временем. Когда Зуля разберется в механизме загадочного вихря дабы использовать его на благо себе и заткнуть, наконец, рот изматывающему страху.

Изобразив должно встревоженный вид, Матвеев повел гостя в свою комнату.

– Да-а, дела, – нарочито скорбно протянул Зуля, выслушав Вилкину историю. – Может, ты чего делаешь не так? Может, в Аньке вся проблема? Ну, в смысле, она сбивает тебя с настроения. Ты же сам говорил, у тебя с ней никакого вихря не получается. А я сильно сомневаюсь, что Совушкина ты любишь больше, чем ее.

– Сравнил тоже, божий дар с яичницей, – Вилке показалось забавным нелепое предположение, однако, истина была в словах Зули. – Думаешь, мне надо остаться с Павлом Мироновичем наедине?

– Не то, чтобы наедине, но, во всяком случае, без Аньки. Хочешь, я с тобой пойду? Заодно и Павла Мироновича навещу, – выгадывая баллы в плюс, предложил Матвеев.

– А ты что, разве еще ни разу у Павла Мироновича не был? – изумлено спросил Вилка.

Матвеев понял, что допустил промашку, но, как истый шахматный мастер, сразу нашел оправдательное решение:

– Конечно, не был. У людей такое горе, только меня не хватает. Неудобно же. Еще подумают, что я нарочно выставляюсь, на чужой беде, – ответ получился достойным, а Зуле, по



правде говоря, было ныне, в виду собственных проблем, плевать с высокой колокольни на весь белый свет и на Павла Мироновича в частности, хотя Ане он сочувствовал.

– Ну, ты и балда. Да Булавиновы только рады будут. Они ж нормальные люди. А со мной не ходи. Чтоб уж наверняка никто не помешал. Ты вот что, ты лучше с Аней пойдешь, – предложил Вилка.

– Правильно, – неподдельно обрадовался Матвеев, – я ее по дороге задержу, ну там яблоки купить или, если повезет, апельсины, а ты в это время, давай быстренько дуй в клинику.

– Дельный план, – согласился с другом Вилка, – жаль, Павлу Мироновичу апельсины ни к чему, он уже почти ничего не ест. Но ты все равно купи и не особенно спеши, даже если Аня начнет шуметь.

– Будь спокоен, – ответил ему Матвеев и заговорщицки подмигнул.

В клинику Вилка поспел в рекордный срок. Юлия Карповна, поддавшись на Вилкины пылкие уговоры, согласилась оставить мужа на его попечении и не дожидаться прихода дочери. Вилке она доверяла.

Итак, на все про все у Вилки имелся примерно час, а может, Зулиными стараниями, немного больше. Вилка мешкать не стал, тут же взял стул, придвинул к самому изголовью больничной кровати. Папа Булавинов не спал, смотрел на Вилкины манипуляции, но не удивлялся и ничего не говорил. Обычно, если Павел Миронович бодрствовал, Вилка по мере сил развлекал его посторонними разговорами, необязательными новостями, и папа Булавинов безмолвно Вилку слушал, будто радио. Но сегодня Вилке пришлось поменять программу. Разглагольствовать на занимательные темы и одновременно пытаться выманить вихрь показалось Вилке несовместимым. На этот раз он просто сидел и глядел, а папа Булавинов, смежив синюшные веки, то ли дремал, то ли от слабости не мог держать глаза открытыми.

– Не выходит каменный цветок, а, Данила-мастер? – вдруг раздался в гробовой тишине голос Павла Мироновича.

Вилка от неожиданности загремел стулом. Только что папа Булавинов вроде бы спал, а теперь, повернув голову, смотрел прямо на Вилку. Он, Вилка, уже вроде бы настроился и тут на тебе! Однако, папа Булавинов о чем-то спросил, а Вилка, растерявшись, пропустил мимо ушей.

– Вам плохо, Павел Миронович? Вам подать что-нибудь? Позвать врача? Может, подушку переложить? – выдвинул Вилка все возможные версии.

– Нет, врача не нужно. А нужно мне объяснение, зачем ты надо мной колдуешь? Целую неделю уже, – папа Булавинов тихо засмеялся, но Вилка видел, что и тихий тот смех был через силу. – Нет, спасибо, конечно. Но, видишь ли, я в экстрасенсорные чудеса не верю и тебе не советую. Чушь все это. И гипноз, и лечение на расстоянии. Я знаю, ты добрый мальчик, временами даже слишком, но не жалей меня. Это тяжело.

– Я хочу вас спасти, – неожиданно честно ответил Вилка. Потом поправился:

– Я могу вас спасти. И это не чушь.

Как ни слаба была мимика, но на лице папы Булавинова ясно обозначилось изумление:

– И как же? Вера, конечно, хорошо. Но у тебя, видимо, есть конкретный план?

Тут Вилку понесло. Не потому, что на сей раз он держал речь перед умирающим, и, не потому что хотел излить душу, поведав страшную тайну. Вилка почувствовал вдруг, что именно папа Булавинов, ученый человек, может дать действенный совет и заодно помочь себе. Он пожалел, что не выбрал Павла Мироновича ранее на место Матвеева. И Вилка рассказал Павлу Мироновичу все.

– Невероятная история, – папа Булавинов приободрился, насколько позволяло его состояние. – Никогда ничего подобного не слышал и не предполагал. Но факты есть факты. Только, боюсь, со мной у тебя не выйдет.

– Но почему? – спросил Вилка и даже немного обиделся. Папа Булавинов явно не торопился помогать ни себе, ни Вилке.

– Потому же, почему у тебя не получается с моей Анютой. И с твоей мамой, и с бабушкой. Судя по всему, это и есть ограничение, – папа Булавинов сказал и сочувственно, искоса поглядел на Вилку.

– Я не понимаю, – упрямо ответил Вилим Александрович Мошкин.

– Все ты понимаешь. Но боишься признаться. Ты ничего не можешь сделать там, где есть твоя корысть, – ответил папа Булавинов и приговорил.

– Какая мне от вас корысть? Или от Ани? Я ее люблю, вы знаете. Больше всех. Где тут выгода? – спросил Вилка тоскливо. Ему было плохо.

– Ты ее хочешь себе и насовсем. В этом выгода. Смешно, конечно. И мама тебе тоже нужна. И, как ни странно, я. Может, всего лишь, как Анютин папа, но так есть.

– Не могу же я по заказу не хотеть? – упавшим голосом спросил Вилка.

– Конечно, не можешь. Но ты можешь не ходить за ту стену и не выпускать бесов из норы. Хотя это не просто. Самодисциплина – вещь, которая достигается годами, – сказал папа Булавинов, и вроде бы он не осуждал Вилку за содеянные им несчастья, – но я тебе скажу одно: к той стене ты подойдешь еще не раз, и не раз еще очень захочешь перейти ее, и перейдешь, наверное. Главное, надо помнить, что это твой выбор, а значит, выбрать можно и в иную сторону.

– Значит, для вас все безнадежно? – у Вилки дрожали руки, и, чтобы это скрыть, он стал поправлять край простыни в изголовье.

– Почему же? Все даже лучше, чем я, грешный, думал. Отрадно знать, что за чертой нашей жизни определено что-то есть. Хорошее или плохое, но есть. И я там буду. От этого делается легче, – папа Булавинов еще хотел нечто сказать Вилке, но не успел. В палату вошли Аня и Матвеев с кульком яблок. Апельсины им купить не удалось.

На рассвете следующего дня Павел Миронович Булавинов умер. Так и не дожив до Нового Года.

## Уровень 12. ...придешь направо

Комья земли падали на гроб. Мерзлые, слипшиеся в камень, пополам со снегом. Вилка скособочено нагнулся, тоже кинул два раза. За себя и за бабушку Абрамовну. Бабушка, тихонько плакавшая с закрытыми глазами, обвисла на его левой руке, и приходилось все делать так, чтобы удерживать старушку в относительном равновесии. Бабушка Абрамовна никому другому не давала себя вести, цеплялась за Вилку, и ему пришлось успокоить Юлию Карповну обещанием не оставлять старушку ни на минуту. Впрочем, Абрамовна была Вилке не в тягость. С ней не требовалось говорить, достаточно просто поддерживать под руку, а местами на кладбище нести как маленького ребенка. Вилка и относился в этот час к Абрамовне как к ребенку, то доставал ей платок, то поправлял беличью шапку-беретку, чтобы старушка не простудилась на ветру.

Проводить папу Булавинова пришли многие. И те, кто любил его, и те, кто предал его в свое время, и те, кто помогал, и те, кто завидовал. С покойника что взять? Он ведь тихий, и все счеты позади. Можно теперь не стесняться сказать, за что был люб, и отчего иным делалось завидно. Теперь все можно.

У могилы, еще не закопанной, стояли и незнакомые Вилке сослуживцы Павла Мироновича, и соседи по дому и подъезду, тех тоже пришло немало, в ветхой «хрущобе» Булавиновых любили. Где-то, не в первых рядах, тактично позади, была и мама с Барсуковым, в толпе Вилка разглядел Матвеева с его Ленкой. А в головах у гроба и у могилы, на расстоянии вытянутой руки, подле Ани и Юлии Карповны, стоял академик Аделаидов. Стоял так, будто хоронил второго сына, и время от времени дотрагивался до Юлии Карповны и до Анечки, словно желал проверить, что рядом с ним еще остались знакомые, живые люди. На академика Вилка смотреть не мог, и когда ловил на себе взгляд Аделаидова, то готов был провалиться сквозь землю, в компанию к Павлу Мироновичу. Замученный этот человек глядел на него, словно бы говоря: «Вот видишь, Вилка, как оно вышло. Остались мы одни, я и эти три несчастные женщины, из которых одна совсем старуха, а вторая еще несамостоятельная девушка. Ты уж не обессудь за просьбу, помогай нам с богом и не покидай».

Как прошли поминки, Вилка не мог сказать. Столы накрыли в институтском кафе, долго говорили речи, в общем одни и те же. Абрамовна раскисла совсем, Вилке пришлось брать академикову «Волгу» и везти бабушку домой. Там, уложив с горем пополам старушку спать, Вилка остался дожидаться хозяев. Наверное, подумалось ему, Ане и ее маме будет не так страшно входить в осиротевшую квартиру, если на пороге их встретит какой-нибудь не чужой им человек.

Обе женщины, большая и малая, пришли поздно. Юлия Карповна трагично подвыпившая, и Аня, трезвая до безнадежности. Вилке обрадовались обе. Он принял от них холодную с улицы одежду, кинулся на кухню ставить чайник. Разговоры теперь, после похорон, сделались ему нестрашны. Оттого что любые слова, самые горестные и больные, отныне не были связаны с погребальными делами, а следовали как бы после них, и имели другое, неконкретное звучание.

Впрочем, Аня и ее мама в этот поздний вечер самого Павла Мироновича поминали мало, время тому еще не пришло, а больше говорили об институтском скорбном застолье, да кто пришел, да какие слова произносил. Вилка нарочно переспрашивал одно и то же по несколько раз, видя, что Юлии Карповне и Ане непременно хочется рассказать еще.

Потом Юлия Карповна умиралась и отправилась спать к бабушке Абрамовне, Анечка же вышла в крохотную прихожую проводить Вилку. Когда Вилка уже оделся и даже кроличью ушанку успел водрузить на голову, Аня остановила его, схватив крепко обеими руками за меховые отвороты «аляски».

– Вилка, ты не уходи совсем, пожалуйста, – жалобно попросила его Аня, и вдруг заплакала.

Вилка сначала ничего не понял, потом испугался, что у Анечки случился от горя нервный срыв, и она заговаривается.

– Куда же я денусь с подводной лодки, – попробовал он пошутить, но Аня, похоже, шутку не приняла. – Завтра после школы опять приеду и послезавтра. А в воскресенье хоть на целый день.

– Мне показалось отчего-то, что ты сейчас уйдешь и не придешь никогда больше. Вообще никто никогда к нам с мамой не придет, – сказала Аня, и заплакала еще горше. Потом вдруг уткнулась Вилке в грудь, спрятав лицо в волчьем мехе куртки. Ее трясло.

Вилка ничего другого не смог придумать, обнял Анечку обеими руками, щекой потерся о ее волосы. Сердце его разрывалось на части от Анечкиных страданий, но в то же время это определенно был лучший момент в его жизни.

– Ох, и дуреха же ты, ну и дуреха! Бабушка Глаша так мою маму называет, когда она ерунду говорит. Как это, не придешь? Куда ж мне еще идти? Ты у меня одна.

Вилка сказал и сам себя услышал. Прозвучало, как объяснение в любви. «Почему же, как? – поправил себя Вилка, – объяснение и есть». Правда, до Анечки это не дошло. Но Вилка считал, оно к лучшему. Не время и не место.

– Самое честное не уйдешь? – спросила Аня совсем по-детски и заплаканная, повисла на Вилке, обняв его за шею руками.

– Сказал же, что не уйду. Я тебе врал когда? – Вилка сделал голос нарочито строгим, как-то и положено с детьми. Но Анечкино лицо оказалось вдруг невообразимо близко, она ведь была ненамного ниже Вилки. И глаза ее мокрые и оттого сияющие, в полумраке коридора все равно ослепительно серые до таинственного, аспидного оттенка, они завораживали Вилку. И он, сам удивляясь себе и собственной смелости, поцеловал Анечку. Сначала в щеку, потом в мокрый глаз, потом, забыв все на свете, в немыслимые губы. Надо же, Анечка в ответ целовала его, горячо и быстро или, наверное, долго. Вилка не помнил о времени. Он целовался впервые в жизни и с кем? С Анечкой. Впрочем, с любой другой девушкой он бы и не стал целоваться ни ради интереса, ни за полцарства в придачу. Но внезапно Анечка отстранилась от него, хотя и не оттолкнула, и снова заплакала навзрыд. Вилке стало стыдно. Лезет с поцелуями, ему-то хорошо как коту на масленицу. Бедная Анечка.

И Вилка опять принялся за словесные утешения. Когда Аня, наконец, выпустила его из квартиры, была уже половина первого ночи. Надеяться на московский метрополитен Вилке не имело теперь смысла. Тогда он пошел по темной, морозной улице к дороге. Автобусы за поздним часом не ходили тоже, и оставалось рассчитывать только на случайную попутку. Денег в кармане у Вилки было копеек пятьдесят, но можно расплатиться и у дома, мама наверняка не спит, ждет его из гостей.

Шел он довольно долго, машины, как назло, не попадалось ни одной. Чертыхаясь про себя за собственную неосмотрительность, надо было сообразить и вызвать по телефону такси, Вилка в конце концов добрал почти до Измайловского парка. Тут, наконец, из боковых улиц вывернула легковушка, чьи фары ослепили его дальним светом последней надежды на спасение из ночных, московских пространств. Вилка выскочил на дорогу, смахнул с головы ушанку, и, сигналив ей, ринулся навстречу машине. Темная «пятерка» с визгом затормозила, из раскрывшейся передней пассажирской двери высунулся по пояс некто и сильно подвыпившим голосом проорал на всю улицу:

– Эй, мужик, ты что охренел?

Вилка и такому приветствию был рад.

– Ребята, подвезите хоть куда-нибудь! – прокричал он в ответ, и для убедительности надавил на жалость, – уже час иду пешеходом, замерз как собака, пропадаю совсем.

– Давай, лезь назад, – повелительно заорал пьяненький пассажир, и задняя дверь приветливо распахнулась.

Вилку дважды приглашать не пришлось, он тут же кинулся в спасительное тепло легко-вушки. На заднем сидении его приняли чуть ли не в объятия две неслыханно сногшибательные девицы, судя по голосам и ароматам, пьяные до нескромности, и вместо приветствия отобрали у Вилки его ушанку, которую немедленно стали со смехом примерять по очереди на шальные головы. Впереди сидели мрачноватого вида водитель «пятерки» и тот самый пассажир, который сжалился над Вилкой.

– Тебе куда? – спросил слегка заплутавшим языком пассажир. И повернулся к Вилке.

– Мне на Комсомольский, – ответил Вилка и тут, в свете убегавшего придорожного фонаря разглядел его лицо. Боже правый, это был не кто иной, как сам Рафаэль Совушкин! У Вилки перехватило дыхание.

– А что, можно и на Комсомольский. Мы все равно в Лужники двигаем. Подвезем братуху? – молодецким голосом взревел Совушкин над ухом мрачноватого водителя.

– Господи, Рафа, делай что хочешь, только не ори! – замучено отвечивал ему рулевой «пятерки».

Вилка очухался от секундного замешательства и вместо благодарности выпалил восторженное:

– Вы Совушкин? Сам? Вот это да!

– Гляди-ка, узнал! Страна помнит своих героев! – и «пирамидальный» Рафаэль довольно захохотал:

– Сам! Сам! Хошь, паспорт покажу, а хошь, автограф накааю! Что, тащишься от моего «музона»?

– Тащусь, – честно сознался Вилка, хотя и был несколько шокирован обиходным лексиконем народного любимца. Но сразу списал погрешности текста на некоторую алкогольную неадекватность загулявшей звезды.

Ближняя к Вилке девица, устав забавляться с ушанкой, теперь щипала его за ляжку и игриво хихикала. Отодвигаться было некуда решительно, и Вилка в смущении обратился к Рафаэлю, одновременно давая намек зарвавшейся красотке:

– У вас очень красивая подруга. То есть, подруги, – поправился он на всякий случай, не зная точно, какая именно из пушистых, ногастых блондинок является собственностью звезды. Заодно, вроде бы вышел комплимент.

– Какие подруги! Шлюхи из «Космоса»! В «Измайловском» погудели, теперь в Лужники на хату валим. Драть их буду. Один. Туча с нами в койку вот не хочет, брезгует, – Рафаэль ткнул пальцем в плечо мрачноватому рулевому. Вилка же, услышав обращение «Туча» сообразил, что водитель «пятерки» не кто иной, как администратор группы Валерий Тучкин. – А то давай со мной в компанию, отдерем их вместе. Будет, что внукам рассказать!

Рафаэль загоготал собственной шутке, девицы, ничуть не обидевшись, хохотали тоже. А Вилке было совсем не смешно. И это Совушкин, его кумир вот уже два года! Какой-то подзаборный хам, а не советская поп-звезда. Рафаэль тем временем продолжал свой пьяный треп.

– Девки, гляньте, он аж офигел от счастья! Да нахрена ты мне сдался? А малюнок на память счас соорудим! – Рафаэль зашелся в хохоте и одновременно полез в «бардачок». Вывалил кучу хлама, из коей извлек синий фломастер, – ну-ка, наклонись.

Вилка, ничего еще не понимая, машинально наклонился вперед. Он и в самом деле офигел, но только никаким образом не от счастья. Совушкин, дурачась и изгаляясь, уже рисовал на Вилкином лбу автограф.

– Во, вещь. Носи на здоровье, – постановил эстрадный кумир, и сказал уже девицам:

– Теперь три дня умываться не будет. Фанаты, блин.

– Рафа, ты это чересчур, – огрызнулся из-за руля администратор Тучкин и повертел пальцем у виска:

– Совсем уже того!

– Ниче-о! Совушкину все можно. Совушкин – самый великий! Самый или не самый? А ну, скажи! – и Рафаэль довольно сильно стукнул администратора в плечо.

– Самый! Только уймись, – попросил его Тучкин и тоскливо сказал, ни к кому собственно не обращаясь, – Как с ума все посходили вокруг от твоей «Пирамиды». Третью группу беру, никогда такого не было. Ну, я понимаю, Ротару, Пугачева, но чтоб какой-то Совушкин?

– Ты, тля, заткнись! Я не какой-то, я самый! Меня Зыкина на правительственном концерте целовала в губы! А ты меня в зад поцелуешь и еще спасибо скажешь, не то вышибу и Бричкина, глисту, возьму на твое место. Ну-ка, тормози тачку!

– Рафа, хватит, я же пошутил, я не то имел в виду! В смысле, что вот парень из Челябинска, неизвестный никому, вдруг бац, и в дамках! – оправдывался Тучкин скорбным голосом.

– Тормози, говорю, обсос ты гребанный! – Рафаэль уже не стесняясь перешел на площадный слог. – Пошутил он, мать твою.

– Ну, все, ну извини. Рафа, ты ж меня знаешь, я за тебя и в огонь, и в воду и к министру культуры! – совсем уже плаксиво запричитал администратор.

– То-то! Твое место у параша, сиди и не чирикай. На первый раз прощаю, – милостиво отпустил администраторские грехи Совушкин, его развозило все больше и больше. Он опять повернулся к Вилке:

– Не, ну ты видал? Я, блин, номер один в этом поющем гадюшнике, а мне всякая свинья будет хрен крутить! Я только рот открою, уже кругом кончают. А почему? Думаешь, лапа у меня? Талант, во-о!

Вилка ничего не ответил, да Совушкин и не нуждался в его одобрении. Ему было все равно на какую аудиторию вещать. Девицы хихикали и курили, в машине стало невыносимо душно и вонюче от алкогольных паров и сигаретного дыма.

– Комсомольский, – кондукторским тоном провозгласил администратор, – тебя, парень, где посадить-то?

– На углу, у светофора, – ответил Вилка. Ему не терпелось поскорее выбраться из поганой машины.

У светофора его и высадили.

– Бывай, брат. Помни мою доброту! – прокричал напоследок Рафаэль, и «пятерка» умчалась в Лужники.

Вилка дошел до ближайшего к нему сугроба и сел в снег. Сначала просто так, безмолвно и неподвижно, потом захватил в пригоршню холодную, сбившуюся в ледяную коросту массу и стал остервенело тереть лоб. Тер до боли, до морозного ожога, до полного омертвления. Потом опять просто сидел.

Мама, конечно, его ждала. Увидела Вилку, ахнула. Мокрое лицо, исцарапанный лоб. Глаза безумные, страшные. Поила чаем, зачем-то капала валерьянку. Была глубокая ночь. Вилка не думал ни о чем, он умирал и хотел спать.

Мысли пришли только на следующий день. Вилка ходил в школу, ездил с Анечкой в аптеку и к ней домой, и думал, думал. Вчера он опустил в кладбищенскую землю возможно лучшего на свете человека, который, будь Вилка умнее, непременно стал бы его преданным другом, вчера же он получил неожиданный приз за многолетнее терпение и о, чудо! целовался с Анечкой. Но думал он не об этом. Самые важные, трагичные и счастливые события его жизни обесценились и отлетели прочь из-за вульгарного люмпена, коему Вилка, собственными руками, устроил сладкую жизнь. Вилке было явлено откровение, которое пришлось принять и с которым пришлось смириться. Он дарил удачу людям – тем, что слепо нравились ему, – ничего толком о них не зная и воспринимая их чужое бытие через розовую призму собствен-

ных представлений. Теперь Вилка поплатился за это, узрев наяву плоды своих трудов и забот. Уличный хам и пьяница, вознесенный Вилкиной волей на вершины благополучия, не знал даже, что ему делать с привалившим счастьем и еще более уродовал сам себя. Почему? Да потому, тут же нашел ответ Вилка, что дарованные ему блага были не выстраданы и не выслужены, но обрушены посторонней волей сверх меры, и Совушкину оказались не по силам.

Вилка жалел о напрасно потраченной удаче, которая пригодилась бы человеку достойному, но и понимал, что явление вихря не происходит по заказу. Это, конечно так, и все же никто не заставлял Вилку далее питать жалкую личность Рафаэля Совушкина благодатным соком фортуны. «А надо было заранее разузнать, кто такой и чем дышит, для чего живет на белом свете, – корил себя Вилка, – нет, кинулся благодетельствовать без разбору, теперь получай. Как же все нескладно!» И постановил удачу отобрать.

Легко сказать! Вилка был без понятия как это сделать, и даже не ведал, возможно ли сие вообще. Вечером, вернувшись от Булавиновых, сидел за письменным столом в своей комнате, будто над уроком. Глядел в раскрытую книгу, видел фигу, и опять думал. Прецедента отбора удачи в его практике еще не имелось, да и до нынешнего дня в этом никогда не виделось нужды. А вдруг опять явится стена? Убивать Совушкина он не хотел ни в каком случае, да и ненависти к нему не испытывал. Разве брезгливое неприятие и жгучий стыд, к тому же Рафаэль, хоть и форменное быдло, а до дому его довез бескорыстно, за что Вилка был ему благодарен. Здесь следовало не казнить, а лишь восстановить справедливость. «Зуле, что ли, брякнуть? – привычно подумалось Вилке, – да поздно уже». Может, просто все сказать, как обычно, только наоборот, вместо хочу, не хочу, вместо желаю, не желаю? Чувство-то искреннее.

Вилка подумал, потом произнес про себя, и пред ним явилось, заслонив собой привычный интерьер его комнаты. Нечто, как сивка-бурка, как лист перед травой. Вилка от неожиданности даже не понял, что это.

Это была стена и в то же время не совсем стена. Во всяком случае, совсем не та стена, которая являлась по зову его ненависти. То есть и она была, но где-то далеко «за», невидная и нестрашная. А впереди, прикрыв собой темное тело стены, сверкало непонятное нечто. Словно блестящая паутина, сотканная из множества ослепительных, искрящихся бело-розовых нитей, отливавших солнечным, оранжевым светом. Паутина была столь невыносимо прекрасна, что Вилка, ненадолго забывшись, залюбовался игрой ее красок. Пока не понял, что смотрит на собственное творение, дело рук своих, и что именно так в этом главном мире выглядит созданная им удача.

Вилка медленно подошел к сотканному им шедевру, коснулся паутины ладонью. Под рукой его тут же заискрилось, полыхнуло, но не обожгло, лишь защекотало. Нити на ощупь были мягкие и теплые, но упругие невероятно, и немного скользкие. Вилка потянул за одну. Нить подалась, потянулась, но вскоре защемила и замерла. Вилка сообразил, потянул за соседнюю, высвободил узелок, протащил далее. Когда нить намертво натянулась, и распутать было уже никак невозможно, Вилка поднатужился и оборвал. И тут неизвестно откуда узнал, что делает именно то, за чем пришел сюда, и этими своими действиями вот сейчас отбирает удачу у Совушкина.

Трудиться пришлось долго. Оторванные и отброшенные нити, лежали у его ног блеклой кучей и постепенно таяли. Вилка очистил все, до самой последней бело-розовой пряди, и оглядел то, что осталось. На месте сверкающей паутины теперь пребывал какой-то сетчатый каркас, бесцветный, но тускло зримый, через который пальцы проскакивали будто сквозь туман, и ухватить его не было никакой возможности. Внутреннее чувство подсказывало Вилке, что в этом случае бороться бесполезно, и ячеистая основа неуничтожима, по крайней мере, до тех пор, пока жив Рафаэль Совушкин, и что раз созданная, она пребудет до конца его дней. Вероятно, сотворена она была по велению самого первого вихря, приведшего Вилку и его подопечного во взаимосвязанное целое, и Вилка в любой момент в силах повторить обратный процесс,

вернуть воссозданные заново нити удачи на место. «Оно и к лучшему, – подумалось Вилке без облегчения, – коли Совушкин исправится, можно сделать все, как было».

Теперь же, глядя на тающие под ногами, отторгнутые нити, Вилка узнал и то, почему от него требовалось питать удачу. Паутина, надо думать, имела некую особенность рассасываться со временем, и без его усилий и забот теряла свойства. Хотя Вилка, разматывая белые и розовые завихрения, подметил одну интересную особенность. Там, где густота их казалась достаточно плотной, одна прядь словно бы подпитывала другую и наоборот, создавая нечто, вроде крошечного вечного двигателя, и те места ему особенно трудно было рвать. Вилке пришло в голову, что если бы паутина стала совсем сплошной, то и существовать самостоятельно она могла бы и без Вилкиной заботы, и возможно сделалась бы неуничтожимой. Ведь той же Танечке год от года требовалось все меньшее и меньшее участие Вилки в поддержании благополучия ее семейной жизни. Может, плотность ее паутины была столь высока, что почти справлялась сама.

Занимаясь своими любопытными исследованиями, Вилка как-то упустил из виду, и даже позабыл о том, что находилось далее за паутиной и прозрачным каркасом. Стена. Темная, холодная, страхолюдная. Та самая. Вилке сразу захотелось удрать прочь, но исследовательский соблазн был велик. Подойти, посмотреть, пощупать. Пока он не в гневе, стена, быть может, вовсе и не опасна. Задержав дыхание, Вилка сделал шаг за туманную сетку, прошел насквозь и... Очутился снова с той же стороны, с которой и был. Заинтригованный, он шагал раз за разом, пересекал ячеистый студень, но снова и снова оказывался на том же месте, откуда начал свое движение. К стене он не приблизился и на миллиметр. Это было здорово. Здорово, что Совушкина он не смог бы погубить, даже если б сильно захотел. Нематериальная, зыбкая преграда делала акт уничтожения совершенно невозможным, страхуя своего хозяина. Слава богу, вихрь удачи еще и защищал владельца паутины от вторжения. Вилке от этого открытия стало хорошо. И он вернулся в реальный мир.



### Уровень 13. Телята и Макар

А в мирских делах зрели существенные перемены. Причем касались они Анечкиного осиротевшего и оскудевшего семейного дома. Академик Аделаидов, взявшийся опекать Булавиновых женщин, затеял авантюрное предприятие – уговорил Юлию Карповну с дочерью и свекровью переехать к нему. Пустующую квартиру можно сдать, для поддержания видимой финансовой независимости. Юлия Карповна, погрузив и хорошенько подумав обо всем, на предложение академика согласилась. И то правда! И сирый академик совсем одинок, и они, три бесхозные, лишенные мужского покровительства женщины. И им защита, и Аделаидову компания, чего уж тут? К тому же Константин Филиппович умел убеждать:

– Переезжайте, Юлия Карповна! Нечего вам стесняться. У меня горе, и у вас горе. Вместе легче терпеть будет. Уж я вас в обиду не дам. Слава богу, копейки по чужим дворам не считаю, машина есть служебная, надо станет, свою заведем. Квартира огромная, только вот дачи собственной не имею. При разводе так постановили. Мне квартира, бывшей супруге – загородный дом. Но это ничего, от государства мне казенная полагается. Пропишу вас, оформлю как опекунство. Я все ж в летах.

– Господь с вами, Константин Филиппович! Да на что нам дачи и машины! – восклицала Юлия Карповна. – Пашу все равно не вернешь. Мне бы только Анюту на ноги поставить. А нам с Абрамовной и не надо ничего.

– Вот и переезжайте. Вам управляться будет легче, и мне веселей. Пожалейте, опять же, старика. А то, бывает, домой приду, и хоть с тоски вой. Иногда так у себя в институтском кабинете и ночую, – посетовал Аделаидов, и не соврал. Дома, считай, у него никакого не имелось с той поры, как погиб сын, была лишь квартира. А это далеко не одно и то же.

В общем, Булавиновых академик сговорил на переезд. И уже весной в их «двушку» на 16-ю Парковую въехал тихий кандидат наук с семейством, которого Аделаидов выписал из Свердловска для государственных нужд. Кандидат застенчиво и безропотно согласился на плату в пятьдесят рублей, смехотворно низкую для нынешней Москвы, но Юлия Карповна находила ее непомерно высокой для небогатого, обремененного двумя детьми научного сотрудника, и оттого все в квартире оставила, как есть, даже посуду не взяла. Да и не нужна была Булавиновым никакая посуда. В доме академика всего хватало, а с переездом рачительной Юлии Карповны стало хватать еще больше. Первым делом Анечкина мама рассчитала заворовавшуюся и в конец обнаглевшую домработницу Тасю, которая наоравшись и наговорив гадостей вволю, ушла, прихватив все свои пять чемоданов и портативный телевизор из кухни. А вскоре и вовсе вышла замуж за продавца из соседнего овощного ларька, давнего своего любовника. Ну и бог с ней. Неужто три женщины, пусть даже одна из них совсем старушка, не справятся с академическим хозяйством! Да и как бы это выглядело? Сидели бы, словно три барыни на чужих хлебах, а перед ними бы прислуга поломойничала. И Юлия Карповна взяла домоводство в свои руки.

Вскоре быт Аделаидовых-Булавиновых пришел в равновесие и сам собой «устаканился». Анечка приняла на себя магазины и уборку. Юлия Карповна – кухню и уход за академиком. Бабушка Абрамовна – просмотр передач и газет, для ежедневного резюме новостей Константину Филипповичу. Академик Аделаидов в кабинетах более не ночевал, теперь ему уж было куда идти. После трудового, руководящего дня его ожидал дом, а в нем накрытый заботливо к ужину стол, а за столом целых три женских лица, благожелательно настроенных для общения. И академик общался, рассказывая сам о вещах высоких, понятных отчасти одной лишь Анечке, слушал со вниманием жалобы бабушки Абрамовны на донимавшие ее болячки, и новости из больницы на Яузском бульваре, куда после переезда устроилась работать на полставки Юлия Карповна. Ибо теперь Булавиновы проживали не где-нибудь, но в высотке на Котельнической набережной. С уборщицами и лифтерами.

Так они и жили. А Вилке в их жилище ход был строго заказан, и не кем-нибудь, им самим. Хотя Анечка не раз и не два пыталась Вилку вразумить и даже со слезами просила не дурить более.

– Что ты себе в голову вбил, глупый ты человек? – кричала ему Анечка, и глаза у нее были, что называется, «на мокром месте». – Подумаешь, Борьку он терпеть не мог. Как будто я его обожала! Константин Филиппович здесь причем? Несчастный, одинокий старик. Мы вот живем у него и ничего. Ведь это мой папа, не твой, его когда-то обманул.

– Ань, ты пойми, ну не могу я! – кричал Вилка в ответ, и то был воистину крик души.

– Ты же обещал никогда не уходить? – с укором напоминала ему Анечка.

– Я и не ухожу. Можно встречаться у меня, или собираться у Зули. Можно в кино пойти или в зоопарк, хоть куда. Только ТУДА я приходить не могу, – отвечал ей Вилка страдальчески, но твердо и бесповоротно.

– Ну, почему? Почему? Как будто ты виноват, что Борька умер? – вопрошала сквозь слезы Анечка, и сама не ведала, что говорила.

Именно, потому, что виноват. Вилке ли не знать об этом. И с каким сердцем теперь ему пересечь академиков порог? Да он в глаза Аделаидову не смеет посмотреть. И не важно, что Константин Филиппович не знает правды о той давнишней истории, а и узнай он, то вряд ли бы поверил в подобную небылицу. Чего-то в нем не хватало такого, что было у папы Булавинова, Вилка это понял с первого раза, когда увидел Аделаидова зимой на похоронах. Зуля Матвеев, конечно же, демонстративно принял Вилкину сторону, и тоже отказался ходить в гости на Котельническую, заумно мотивируя свое, а заодно и Вилкино поведение высшими этическими принципами, призванными на пустом месте прикрывать их страшную тайну. Анечке пришлось уступить и смириться.

А Совушкин свою удачу спустил окончательно до последнего ломанного гроша. Вилка и Зуля за тем проследили сторонними наблюдателями. Образ кумира окончательно дискредитировался печатью, предавшей гласности одиозные выходки вчерашнего всеобщего любимца, а после особенно безобразной попойки Совушкин и вовсе был отстранен от эстрадного пирога. Впрочем, успокаивал свою взбрыкнувшую было совесть Вилка, так оно и случилось бы в естественном порядке вещей, ведь он, Вилка, не сделал Рафаэлю ничего плохого, лишь перестал делать хорошее. Ничто не мешало лидеру «Пирамидальной пирамиды» творить далее личное благополучие собственными же руками. Ведь сотни иных успешных талантов обходились как-то без помощи вихря Вилима Мошкина.

Но не одни только Рафаэли Совушкины, переезды и тайны занимали место в повседневном бытии трех друзей. Аня, Вилка и Зуля имели еще одну, важную заботу. Школьная опека над ними близилась к своему естественному концу, и надо было определяться далее. Для Вилки ясность в этом вопросе наступила давным-давно, иных планов, кроме механико-математического факультета он и не строил. К вящему довольству Барсукова, который уже на всякий случай шустрил для подстраховки среди предполагаемых членов приемной комиссии, к коей он сам имел косвенное касательство, на правах партийного руководителя вникая в личные дела и характеристики будущих студентов. Анечка из солидарности, а скорее просто из нежелания расставаться со своим верным Лепорелло, поступала туда же, и всячески препятствовала неугомонному в заботе Аделаидову «позвонить, кому следует». Глупости какие, она вполне справится сама.

Полной неожиданностью стало для них решение Матвеева. Экономический факультет.

– Зуля, да ты в уме? – воскликнул изумленный Вилка, как только Зуля огласил ему и Анечке свое непересказуемое решение. – Бухгалтерия – бабское дело. Ты же прирожденный математик, ты шахматист, наконец!

– Современная экономика и есть математика, а шахматы здесь совсем посторонние, – внушительно проворчал в ответ Матвеев, – и это не бухгалтерия. Что же касается баб, то чем их больше, тем лучше.

– А как же Лена? – со смешком спросила Анечка.

– Лена – это Лена. К тому же она на вычислительную математику и кибернетику собирается. Ее факультет в том же корпусе МГУ, что и мой. Считай, соседи. И не спорьте, я решил, – сказал Матвеев, достоинства в его голосе еще прибавилось.

– Ну-у, вот, – огорченно протянул Вилка, – собирались все вместе, а теперь ты вдруг в счетоводы намылился. Смотри, не пожалей потом.

– Не пожалею, – уверенно произнес Зуля, и бросил вызов:

– Грядущее время покажет, кто из нас дальновиден и прав.

Но дело было совсем не в правоте и желании Зулей экономических успехов и свершений. Вернее, дело было не только в них. Пристегнуть себя еще на пяток лет к красавице и ее чудовищу казалось ему верхом неосмотрительной глупости. Разумная дистанция совсем иное дело. Вроде бы друзья по-прежнему, но и каждый при своем интересе. Не хватало ему соревнования на одном и том же поле деятельности! Он, Зуля куда способнее в естественных науках, чем его дружок-монстр. Не дай то бог статься зависти и соперничеству. Заболит у чудища головка, и привет Матвееву из загробных далей. А так Зуля вроде и около, но в то же время не слишком, и ежели что – успеет случиться поблизости и быть, что называется, в курсе событий. Да и в экономический факультет Зуля верил. Глаза держал открытыми и ушки на макушке, слушал разговоры отца и его приятелей-деляг, носом чуявших перемены, к тому же сам Яков Аркадьевич к решению сына отнесся донельзя одобрительно, видел толк и перспективу. Дед Аркаша намерения внука никак прокомментировать не мог, ибо уже год, как покоился на Ваганьковском кладбище.

Они, конечно же, поступили. Все трое. Вернее, четверо, если считать и глупышку Торышеву. И каждый туда, куда хотел. Хотя попсиховать пришлось. Корпя в аудитории над вступительным сочинением, Вилка, плавающий в море синтаксиса и грамматики без руля и без ветрил, разом потерял веру и в себя, и в страховочные обещания Барсукова, и в заранее хитро припасенные шпаргалки. Счастье и спасение для Вилки в эти экзаменационные часы были лишь в Анечке, трудившейся рядом над образом Печорина и не покинувшей друга на тонущем литературном корабле. Написать работу за Вилку у нее само собой времени не имелось, но вот проверить и подправить его испуганные черновые каракули Анечка успела, чем, в сущности, отвела угрозу «неуда».

Когда же вывешенные на факультетах списки украсились их фамилиями, отмечать событие обе пары отправились на Октябрьскую, в известную своими блинчиками «Шоколадницу». Потратили целое состояние в десять рублей и объелись до отвращения к любого рода пище.

Последний, оставшийся от лета месяц каждому предстояло провести по-своему. Анечка в составе ее нового, объединенного семейства отбывала на «казенную» дачу. Зулю отец премировал дефицитной поездкой в дружественную Болгарию, куда Зуля и уехал вместе с мамой Вероникой Григорьевной. А Вилку ждало путешествие к Черному морю, в ставший почти родным за эти годы студенческий «Буревестник». Впервые он ехал не просто как пасынок факультетского начальничка, но как будущий полноправный первокурсник, настоящий «мехматовец». То есть был он ныне не «сын полка», а утвержденный списком рядовой. Вилка остригся в лето под «ежа», подумав про себя, что будь жив папа Булавинов, то непременно посоветовал бы ему в противовес отпустить бороду. В «Буревестнике» Вилку и настигло неминуемое в его жизни событие.

Барсуков и ранее предоставлял Вилке в южных краях почти ничем не ограниченную свободу передвижений, а в нынешнее лето, будучи особенно расположенным к пасынку, вовсе милостиво позволил самостоятельное существование, и даже дал двадцать рублей на расходы.

Викентию Родионовичу было чем гордиться и хвастать перед коллегами: Вилка оправдал все его надежды и не уронил честь Барсукова в грязь, поступил и с хорошим проходным баллом. Викентий Родионович даже успел от себя партийную рекомендацию соорудить, с целью определения Вилки для начала в комсорги группы.

Кое-кого из отдохавших студюзовцов, преимущественно старшекурсников, Вилка узнал еще по прошлым визитам в «Буревестник», со многими тут же познакомился заново. Место было старое, обжитое, Вилку помнили и раздатчицы в столовой и даже торговки, что из года в год предлагали неподалеку пиво и квас. Однако в компаниях на Вилку смотрели уже по-иному. Как на полноправного, хотя и низшего чина студенческой корпорации.

В этот раз Вилка как-то само собой прибил к развеселым и немного ему знакомым «мехматовцам»-четверокурсникам. Бесшабашные эти ребята приняли его к себе на правах младшего братишки и знающего старожилы с выгодными связями на пункте питания. Верховодил в их кругу смешной и крепко выпивающий очкарик Лева Туробоев, умница и сквернослов, который, потребляя он поменее алкоголя, имел бы полное право на звание «ботаника». Трое парней и две девушки, да плюс Вилка, вот и вся их гоп-компания, небольшой, но очень сплоченный коллективчик, со знанием дела убивающий предназначенное к отдыху время. Вилка без малейшего сожаления сдал свои двадцать рублей в общую копилку и стал равнозначным пайщиком-акционером всех вечерних посиделок и дневных «пивных» походов. Правда, сам Вилка спиртным не злоупотреблял. Пиво еще туда-сюда, пригодился и опыт, обретенный на Зулиной кухне. Но от водочных подношений Вилка отказывался решительно, впрочем, «туробоевцы» не настаивали. Излишек шел к ним в прибыль, а Вилка был, что называется, «выгодным гостем». Иных же напитков, кроме пива и сорокаградусной в их компании не случалось. Однако, спустя несколько дней, стараясь как бы загладить несправедливость, девушки Вика и Ульяна с молчаливого одобрения Левы притащили и пару бутылок сухого грузинского вина в «братишкину» пользу. Вилка нашел вино так себе, но выпил с полбутылки, чтоб не обидеть, к тому же Уля, Ульяна Зелинцева, разбитная и ветреная девица, Вилку подначивала, мол, слабо. С этой Ульяной у Вилки и произошла история.

В тот день, вернее, в тот вечер, в комнате у Левы отмечали день рождения его лучшего друга Ленчика Борзова, за внушительную нижнюю челюсть и выпирающие зубы получившего прозвище Леня-лошадь. Были не только «туробоевцы», но уйма и другого студенческого народа, с самых разнообразных факультетов, забежавшего на праздничный огонек. Кто-то в виде подарка приходил со «своим», кто-то, напротив, в расчете на дармовую халяву. Кто-то оставался на посиделки, кто-то, в честь именинника опрокинув стакан, спертый на время из «столовки», уносился далее по личным надобностям. К полуночи возникла и гитара. У самих «туробоевцев» пение под струнные музыкальные инструменты было не в чести, предпочитали больше магнитофон и западные тяжелые группы, однако, гостя, пожелавшего исполнить ради праздника репертуар КСП, неудобным выходило гнать в шею.

Вилка сидел, затиснутый в угол между Ульяной и странным до безобразия парнем с физфака, которого за темные, нестриженные космы и огромный нос все называли Абабычем. Этот Абабыч хлестал водку, не закусывая, иногда страшным голосом подвывал гитаристу. Захмелевшему Вилке он казался оборотнем из заграничных ужасиков. Ульяна все подливала Вилке вино, велела не зевать, не то выдуд всю водяру, гости не пощадят и его «сухарь». Вилке вовсе не было жалко дешевой кислятины, но и заботу о себе совсем взрослой девушки отвергать не хотелось. Периодически Уля насильно совала ему в руки то кусок помидора, то плавленый сыр на ломте хлеба и приказывала: «Ешь, не то стошнит!». И Вилка ел, он совсем не желал, чтобы его тошнило. От вина и комнатной, жаркой духоты Вилка опьянел до головокружения, к тому же плавающий свинцовым облаком табачный дым совсем не улучшал экологическую обстановку в помещении. Рядом, непонятно на чьи уже песни и шутки оглушительно хохотала Ульяна. Она вообще пользовалась у мужской половины завидным успехом, но постоянного

ухажера не имела ни среди «туробоевцев», ни где-либо еще. Уля объясняла это просто: «Успею в своей жизни на какого-нибудь гения погорбатиться!», и ни в чем пока себе не отказывала. Была она высокой, ширококостной, смуглой брюнеткой, с удивительными карими, «оленьими» глазами, с крестьянскими руками и непропорционально тонкой для ее мощной фигуры талией. В общем, ничего себе.

Вилка понятия не имел, какой наступил час ночи, когда, прихватив оставшееся вино и два зеленых, каменных яблока, Ульяна едва ли не за ручку уволокла его на пляж. Развалившись на жесткой, противно холодной гальке, они хохотали непонятно от чего, пили вино прямо из горла, Вилка это отчетливо помнил, кидались недоеденными огрызками в воду. А потом... Черт его знает, как это случилось. Просто случилось и все. Вилке к тому времени море было уже много ниже колена, и нахрапистый шторм, которым Уля Зелинцева преодолела его считавшую ворон невинность, показался ему сперва забавным, потом весьма приятным и уместным, а под конец и до боли знакомым ощущением. Очень, очень похожим на те восторги, что он испытывал, даруя удачу, только беспредметным и не порождающим вихря экстазом. Сравнение представилось Вилке в тот момент почти гениальным, и в нем пробудился экспериментаторский дух. Никакой неловкости или смущения от своего совершенно голого тела он не испытывал, да и винные пары сильно препятствовали проявлениям стыдливости. Отнюдь не считая в эти минуты, что делает нечто не вполне обычное, Вилка ухватил растрепанную и тоже голую Улю за шею и закричал ей в ухо: «Ух, ты! А ну, давай еще раз!». И обалдевшая от неожиданности, опытная старшекурсница тут же упала в его объятия.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.